



КОБЗАРЬ

Т. ШЕВЧЕНКА.

САЩУЖЕНСЬКОЇ ДРУКАРНІ.

1840.

У КИЇВІ У ПЕЧАТНІЦІ С. КОШОЦЬКОГО.

Кобзарь //Художественная литература, Москва, 1972
FB2: , 11/22/2014, version 1.0
UUID: OoFBTools-2014-11-21-21-15-9-1046
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Тарас Григорьевич Шевченко

Кобзарь

Содержание

Порченая	0007
(Ветер буйный)	0017
Вечной памяти Котляревского	0020
Думы мои	0025
Катерина	0030
#1	0030
I	0030
II	0037
III	0044
IV	0053
V	0060
Тарасова ночь	0062
Перебендя	0069
К Основьяненко	0074
Иван Подкова	0079
#1	0079
I	0079
II	0080
Гайдамаки	0083
#1	0083
Пролог	0083
Интродукция	0094
Галайда	0096
Конфедераты	0101
Ктитор	0107

Праздник в Чигирине	0117
Третьи петухи	0132
Кровавый пир	0139
Гупаливщина	0147
Пир в Лысянке	0153
Лебедин	0166
Гонта в Умани	0172
Эпилог	0185
Предисловие	0191
Песня караульного у тюрьмы	0193
Гамалия	0195
Разрытая могила	0204
(Чигирин)	0207
Сова	0211
Сон	0222
Еретик	0246
(Ян Гус)	0250
Слепой	0263
Подземелье	0293
#1	0293
Три души	0293
Три вороны	0301
Три лирника	0311
(Стоит в селе Субботове)	0318
Наймичка	0321
#1	0321
Пролог	0321
I	0324

II	0325
III	0328
IV	0332
V	0334
VI	0338
VII	0341
VIII	0343
Кавказ	0347
Послание	0355
Холодный Яр	0367
Псалмы Давида	0371
#1	0371
1	0371
12	0372
43	0373
52	0375
53	0376
81	0377
93	0378
132	0380
136	0381
149	0383
Лилея	0385
Иржавец	0389
(Когда мы были казаками)	0394
Чернец	0396
Платок	0402
Цари	0406

#1	0406
I	0407
II	0411
III	0413
IV	0414
V	0417
Дочка ктитора	0419
(Микита) Швачка	0429
(Чумак)	0432
(Наливайко)	0434
(Во граде Вильно достославном)	0438
(Покрытка)	0443

Порченная

Широкий Днепр ревет и стонет,
сердитый ветер листья рвет,
к земле все ниже вербы клонит
и волны грозные несет.
А бледный месяц той порою
за темной тучею блуждал.
Как челн, настигнутый волною,
то выплывал, то пропадал.
Еще в селе не просыпались,
петух зари еще не пел,
сычи в лесу перекликались,
да яшень гнулся и скрипел.

В этот час у темной чащи —
внизу под горою —
что-то белое мелькает,
бродит над водою.
То ль русалка мать родную
ищет среди ночи,
то ли хлопца поджидает, —
встретит — защекочет.

Не русалка, нет — дивчина
порченная бродит
и сама про то не знает,
что с ней происходит.
Вот что сделала колдунья,
чтоб не тосковала,
чтобы сонная бродила,
ночью поджидала
казака, что вдаль уехал,
что ее покинул.

Обещал он возвратиться,
да, как видно, сгинул!

Не китайкой ему очи
люди принакрыли,
и лицо его не слезы
девичьи омыли:

черный ворон вынул очи
в том ли чистом поле,
тело волки разорвали, —
вот казачья доля.

Видно, зря дивчина бродит,
бродит, ожидает...

Чернобровый не вернется
и не приласкает,
косу ей не расплетет он,

платок не повяжет;
не в постель, а в домовину
сиротина ляжет!

Такой ее жребий... О, Боже мой, милый,
за что на беднягу наслал ты беду?
За то, что всем сердцем она полюбила
казацкие очи?.. Прости сироту!
Кого же любить ей? Она одинока,
одна, словно пташка в далеком краю.
Пошли ты ей счастье, пошли черноокой,
не то ее люди совсем засмеют.
Виновна ль голубка, что голубя любит?
Виновен ли голубь, что мертвым упал?
Летает подружка — воркует, тоскует,
зовет и не знает, где он запропал.
И все же ей легче: она ведь летает, —
помчится и к Богу — о миллом узнать.
А та — сирота — у кого распытает,
и кто ей расскажет, и кто о том знает,
где милый: поит ли коня на Дунае?
Собрался да в темном лесу ночевать?
А может, с другой он, другую ласкает,
ее ж, чернобровую, стал забывать?
Когда бы ей птицею стать быстрокрылой,

весь мир облетела б, а друга б нашла;
Коль жив он — любила б, а ту задушила б,
коль умер — в могилу б с ним рядом легла
Не так любит сердце, чтоб с кем-то делить-
ся,

не так оно хочет, как Богом дано:
Дано ему в жизни страдать и томиться,
но жить и томиться не хочет оно.
Такая твоя уж, о Господи, воля,
такое уж счастье у бедной и доля!

Все бродит — молча, как немая,
угомонился Днепр ночной;
у моря ветер отдыхает,
развев тучи над землей.
Сверкает месяц в небе чистом;
и все — и Днепр, и лес тенистый —
полно глубокой тишиной.
И вдруг русалочки над плесом
поднялись, выплыв из Днепра
(нагие; из осоки — косы),
кричат: «Погреться нам пора!»
«Пора! — ушло уж солнце за лес...»
Их мать спросила: «Все собрались?»
Идем же ужин добывать.

Поиграем, погуляем,
попоем, пораспсваем:

Ух, ух!

Соломенный дух, дух!

Меня мать не окрестила,
некрещеной положила.

Месяц ясный!

Голубочек наш!

Иди скорей вечерять к нам:

лежит казак в пещере там,
он в пещере на песке

и с колечком на руке;

молодой да чернобровый,
мы нашли его в дуброве.

Посвети ж нам в чистом поле,
погулять хотим мы вволю.

Пока ведьмы здесь летают,
петухи не запевают,

посвети нам... Кто там бродит?

Что у дуба происходит?

Ух, ух!

Соломенный дух, дух!

Меня мать не окрестила,
некрещеной положила».

На все лады гогочет нежить...
Лес отозвался; гам и крик, —
сошли с ума, иль кто их режет,
несутся к дубу напрямик...
Вдруг они остановились,
смотрят: у опушки
кто-то лезет вверх по дубу
до самой макушки.
Это ж та, что под горою
сонная бродила:
вот какую злую порчу
ведьма напустила!
Взобралась, на зыбких сучьях
молча постояла,
на все стороны взглянула
и спускаться стала.
А русалочки у дуба
ее поджидали;
слезла — взяли сиротину
и защекотали.
Долго, долго любовались
девичьей красою...
А запел петух — мгновенно
скрылись под водою.
Поднялся над полем с песней

жаворонок ранний,
а ему кукушка с дуба
вторит кукованьем;
соловей в кустах защелкал —
эхо отвечает;
за горой краснеет небо;
пахарь напевает.
Лес чернеет, где походом
шли когда-то паны;
в дымке утренней синеют
дальние курганы;
зашептались лозы, шелест
прошел по дуброве.
А дивчина спит под дубом
у большой дороги.
Спит, не слышит кукованья,
глаз не открывает,
сколько лет ей жить на свете —
уже не считает.

Той порою из дубровы
казак выезжает;
добрый конь устал в дороге
и едва ступает.
«Притомился, друг мой верный!

Дом уж недалеко,
где ворота нам дивчина
распахнет широко.
А быть может, распахнула,
да не мне — другому...
Поспешай же, мой товарищ,
торопись до дому!»
Конь шагает через силу, —
ступит и споткнется.
А на сердце тошно — словно
там гадюка вьется.
«Вот и дуб знакомый... Боже!
То ж — она, касатка!
Знать, заснула, ожидая,
было, знать, не сладко!»
Соскочил с коня и — к дубу:
«Боже ж ты мой, Боже!»
Он зовет ее, целует...
Нет, уж не поможешь!
«Да за что же разлучили
люди нас с тобою?»
Разрыдался, разбежался,
да — в дуб головою!

Идут дивчата утром ранним,

идут с серпами — жито жать;
поют, как бились басурмане,
как провожала сына мать.
Идут, знакомый дуб все ближе...
Понурый конь под ним стоит,
в траве казак лежит, недвижим
дивчина рядом с ним лежит.
Их, ради шутки, захотели
дивчата малость попугать.
Но подошли — и... онемели,
и в страхе бросились бежать.

Как собрались подружки —
слезы вытирают;
как товарищи собрались —
две ямы копают;
А пришли попы с крестами —
в церкви зазвонили.
Их обоих честь по чести
люди схоронили.
У широкой у дороги,
в поле закопали.
А за что они погибли —
так и не узнали.
На его могиле явор

и ель посадили,
а червонную калину —
на ее могиле.

Днем кукушка прилетает
куковать над ними,
а ночами — соловейка
с песнями своими.

Он поет, пока сверкает
месяц над землею
и пока не выйдут греться
русалки гурьбою...

(Ветер буйный)

Ветер буйный, ветер буйный,
с синим морем споришь, —
встряхни его, взволнуй его,
поговори с морем.
Оно милого, бывало,
на волне качало;
далеко ли сине море
милого умчало?
Если друга утолило —
разбей сине море;
пойду искать миленького,
топить свое горе.
Утоплю свою недолю,
русалкою стану,
поищу в пучине черной,
на дно моря кану.
Найду его — прильну к нему,
на груди замлею.
Неси меня, море, с милым,
куда ветер веет!
Если милый там, за морем, —

ты, мой буйный, знаешь,
как живет он, где ночует,
ты его встречаешь.

Если плачет — и я плачу;
нет — я распеваю;
коль погиб мой чернобровый —
и я погибаю.

Тогда неси мою душу
туда, где мой милый,
и поставь калиной красной
над его могилой.

Будет легче сиротине
в могиле постылой,
если милая склонится
цветком над могилой.

И цветком я и калиной
цвести над ним буду,
чтоб не жгло чужое солнце,
не топтали люди.

На закате погрузу я,
всплакну на рассвете;
взойдет солнце — вытру слезы,
никто не заметит.

Ветер буйный, ветер буйный,

ТЫ ВЕДЬ С МОРЕМ СПОРИШЬ, —
ВСТРЯХНИ ЕГО, ВЗВОЛНУЙ ЕГО,
ПОГОВОРИ С МОРЕМ...

Вечной памяти Котляревского

Солнце греет, ветер веет,
с поля на долину,
воду тронет, вербу клонит,
стибает калину;
на калине одиноким
гнездышком играет.
Где ж соловушка сокрылся?
Где искать — не знает.
Вспомнишь горе — позабудешь:
отошло, пропало;
вспомнишь радость — сердце вянет
зачем не осталась?
Погляжу я да припомню:
как начнет смеркаться,
запоет он на калине —
все молчат, дивятся.
Иль богатый да счастливый,
кто судьбой-судьбиной
облюбован, избалован,
станет пред калиной;
иль сиротка, что работать

встает до рассвета,
остановится послушать,
словно в песне этой
мать с отцом ведут беседу, —
сердце бьется; любо...

Все на свете точно пасха,
и люди как люди.

Или девушка, что друга
долго поджидает,
вянет, сохнет сиротою,
как быть ей — не знает.

На дорогу выйдет глянуть
и поплакать в лозы;
чуть соловушка зальется —
высыхают слезы;
послушает, улыбнется,
в лесу погуляет —
точно с милым говорила,
а он не смолкает.

И кажется, будто он молится Богу,
Пока не выходит злодей погулять
с ножом затаенным, — и эхо над логом
пойдет и замолкнет: к чему распевать!
Жестокую душу смягчить ли злодею!
Лишь голос загубит, к добру не вернет;

пусть тешится злобный, пока, холодея,
не сляжет, коль ворон беду предречет.
Заснет долина. На калине
к утру соловушка заснет,
повеет ветер по долине,
и эхо по лесу пойдет.
Гуляет эхо — Божье слово...
Бедняги примутся за труд.
Стада потянутся в дубровы,
дивчата по воду пойдут.
И солнце глянет — краше рая,
смеется верба — свет зари,
злодей опомнится, рыдая.
Так было прежде... Но смотри:
солнце греет, ветер веет
с поля на долину;
воду тронет, вербу клонит,
сгибает калину;
на калине одиноким
гнездышком играет.
Где соловушка сокрылся?
Да где ж он? Кто знает.

Недавно, недавно над всей Украиной
старик Котляревский вот так распевал;

замолк он, бедняга, сиротами кинул
и горы и море, где прежде витал;
где ватагу твой бродяга
водил за собою,
все осталось, все тоскует,
как руины Трои.

Все тоскует. Только слава
солнцем засияла.

Жив кобзарь — его навеки
слава увенчала.

Будешь ты владеть сердцами,
пока живы люди;
пока солнце не померкнет,
тебя не забудем!

Ты душа святая! Речь сердца простого,
речь чистого сердца приветливо встретить!
В сиротстве не брось, как ты бросил дубро-

вы,

промолви мне вновь хоть единое слово,
Вернись, чтобы снова о родине петь.
Пускай улыбнется душа на чужбине,
хоть раз улыбнется, увидев, как ты
с единственным словом приносишь и ны-

не

казацкую славу в дом сироты.

Орел сизокрылый, вернись! Одинок
живу сиротою в суровом краю;

стою пред морского пучиной глубокой,
моря переплыл бы — челна не дают.

Припомню я родину, вспомнив Энея,
припомню — заплачу; а волны, синяя,
на тот дальний берег идут и ревут.

Я света не вижу, я точно незрячий,
за морем, быть может, судьба моя плачет,
а люди повсюду меня осмеют.

Пускай улыбнется душа на чужбине —
там солнце, там месяц сияет ясней,
там с ветром в беседу курганы вступают,
там с ними мне было бы сердцу теплей.

Ты душа святая! Речь сердца простого,
речь чистого сердца приветливо встретить!
В сиротстве не брось, как ты бросил дубро-

вы,

промолви мне вновь хоть единое слово,
вернись, чтобы снова о родине петь.

ДУМЫ МОИ

ДУМЫ МОИ, думы мои,
горе, думы, с вами!
Что вы встали на бумаге
хмурыми рядами?
Что вас ветер не развеял
пылю на просторе?
Что вас ночью, как ребенка,
не прислало горе?..
Ведь вас горе на свет на смех породило
поливали слезы... Что ж не затопили?
Не вынесли в море, не размыли в поле?
Люди не спросили б, что болит в груди
почему, за что я проклиная долю,
почему томлюся... «Ничего, иди!» —
не сказали б на смех...
Цветы мои, дети,
зачем вас лелеял, зачем охранял?
Заплачет ли сердце одно на всем свете,
как я с вами плакал?.. Может, угадал?..
Может, девичье найдется
сердце, кари очи,

что заплачут с вами, думы, —
большого ли хочешь?
Лишь одна б слеза скатилась...
И — пан над панами!
Думы мои, думы мои,
горе, думы, с вами!

Ради глаз девичьих карих,
ради черной брови
сердце билось и смеялось,
выливалось в слове.
В слове этом возникали
и темные ночи,
и вишневый сад зеленый,
и ясные очи,
и поля, и те курганы,
что на Украине...
Сердце млело, не хотело
песен на чужбине.
На совет казачье войско,
меж сугробов белых,
с бунчуками, с булавами
сзывать не хотело...
Пусть же там, на Украине,
души их витают —

там веселье, там просторы
от края до края...
Как та воля, что минула,
Днепр широкий — море,
степь и степь, режут пороги,
и курганы — горы.
Там родилась, красовалась
казацкая воля;
там татарами и шляхтой
засевала поле.
Засевала трупом поле
воля, опочила,
отдыхает...
Ее давно
приняла могила.
И над нею орел чёрный
сторожем летает.
Кобзари о ней народу
песни распевают,
распевают про былое,
убоги, незрячи, —
им поется... А я... а я
только горько плачу.
Только плачу об Украине,
а слов не хватает...

А про горе?.. Да чур горю,
кто его не знает?

А кто пристально посмотрит
на людей душою, —
ад ему на этом свете,
на том же...

Тоскою себе счастья не накличу,
коль его не знаю;
пускай злыдни живут три дня
я их закопаю.

Закопаю, пусть у сердца
грусть змеей свернется,
чтобы ворог мой не слышал,
как горе смеется.

Дума пусть себе, как ворон,
летает и кричит,
а сердечко соловейком
и поет и плачет.

Тихо — люди не увидят
и не посмеются...

Слез моих не утирайте,
пусть ручьями льются,
пусть они чужое поле
моют дни и ночи,

пока попы не засыплют
чужим песком очи.
Так-то, так-то... Что же делать?
Тоска не поможет.
Кто ж сиротам завидует,
карай того Боже!

Думы мои, думы мои,
цветы мои, дети!
Я растил вас, я берег вас,
где ж вам быть на свете?
В край родной идите, дети,
к нам на Украину,
под плетнями сиротами,
а я здесь уж сгину.
Там найдете сердце друга,
оно не лукаво,
чистую найдете правду,
а может, и славу...

Привечай же, мать-отчизна,
моя Украина,
моих деток неразумных,
как родного сына!

Катерина

I

Чернобровые, любитесь,
да не с москалями,
москали — чужие люди,
глумятся над вами.
Позабавится и бросит —
поминай как звали.
а дивчина погибает
в горе да в печали.
Пусть сама б она погибла,
клянтя долю злую,
но еще и то бывает —
губит мать родную.
Если есть за что увянуть —
сердце с песней вянет,
люди в сердце не заглянут
и жалеть не станут.
Чернобровые, любитесь,
да не с москалями:

москали — чужие люди,
смеются над вами.

Ни отца, ни мать родную
слушать не хотела —
с москалем слюбилась Катря,
как сердце велело.

Полюбила молодого,
в садик выходила,
пока там девичью долю
не запропастила.

Мать звала вечерять дочку —
дочка не слышала;
где встречалась с любимым,
там и ночевала.

Много ночек кари очи
крепко целовала,
пока вдруг не зашумела
недобрая слава.

Что ж, пускай дивчину судят
люди в разговоре:

она любит и не слышит,
что подкралось горе.

Весть недобрая примчалась —
в поход затрубили.

Уходил москаль, а Катре
голову покрыли.
Не заметила позора,
пропустила мимо:
словно песня, сладки были
слезы о любимом.
Обещался чернобровый:
буду цел — вернуся.
Ожидай его, дивчина,
ожидай, Катруся!
С москалями породнишься —
горе позабудешь,
а пока — пускай болтают
что угодно люди.
Не тоскует Катерина —
слезы вытирает,
а на улице девчата
без нее гуляют.
Не тоскует Катерина,
а ночной порою
берет ведра молчаливо,
идет за водою,
потихоньку, незаметно
дойдет до криницы,
тихо станет под калиной,

запоет о Грице.

Так залъется, что калина
плачет от печали.

Возвратится — и довольна,
что не увидали.

Не тоскует Катерина,
ничего не знает,

из окна в платочке новом
смотрит, ожидает.

Ожидала Катерина,
а время летело,

захворала Катерина,
слегла, ослабела.

Занедужила, бедняжка,
еле-еле дышит...

Отлежалась — и за почкой
колыбель колышет.

А соседки злые речи
с матерью заводят:

«Мол, не зря в твой дом ночами
москали приходят.

У тебя родная дочка
стройна и красива,

и не зря она качает
солдатского сына:

что искала — получила...
Уж не ты ль учила?..»
Дай вам Боже, цокотухам,
чтоб вас горе било,
как беднягу, что вам на смех
сына породила.

Катерина, мое сердце!
Ой, беда с тобою!
Как ты жить на свете будешь
с малым сиротою?
Кто расспросит, приласкает,
кто вам даст укрыться?
Мать, отец — чужие люди,
с ними не ужиться!

Отлежалась Катерина,
встала понемногу,
под окном ласкает сына,
смотрит на дорогу.
Смотрит Катря — нету, нету...
Может, и не будет?..
Хоть бы в сад пошла поплакать
так увидят люди.
Сядет солнце — Катерина

в садике гуляет,
к сердцу сына прижимает,
тихо вспоминает:
«Здесь его я поджидала,
здесь его встречала,
а вон там... сынок, сыночек!..»
и не досказала.

Зеленеют, зацветают
черешни и вишни.
В тихий садик Катерина,
как и прежде, вышла.
Но уже не запекает,
как тогда бывало,
когда друга молодого
ждала-поджидала.
Приумолкла Катерина
от тоски-печали,
а соседи, а соседки
уши прожужжали.
Пересуды да насмешки
злобою повиты...
Где ж ты, милый, чернобровый?
В ком искать защиты?
Ой, далеко чернобровый,

и ему не видно,
как враги над ней смеются
и как ей обидно.

Может, лег он за Дунаем
в могилу сырую?

Иль в Московщину вернулся
да нашел другую?

Нет, не лег он за Дунаем
на глухом кладбище,
а бровей таких на свете
нигде он не сыщет.

Пусть в Московщину поедет,
пусть плывет за море —
с кем угодно Катерина
красотой поспорит.

Черны брови, кари очи,
молодая сила.

Только счастье мать родная
дать ей позабыла.

А без счастья ты на свете,
как в поле цветочек:
гнет его и дождь и ветер,
рвет его кто хочет.

Умывайся ж, Катерина,
горькими слезами!

Москали давно вернулись
другими путями.

II

За столом отец угрюмо
на руки склонился
и на свет смотреть не хочет,
в думу погрузился.
На скамейке, возле мужа,
села мать-старуха
и, слезами заливаясь,
вымолвила глухо:
«Что же, доченька, со свадьбой?
Отчего ж одна ты?
Где жених запропастился?
Куда делись сваты?
Все в Московщине. Ступай же,
там проси защиты,
а о матери родимой
людям промолчи ты.
Знать, в несчастную годину
тебя породила.
Коли б знала, что случится,

лучше б утопила...

Не увидела б ты горя,
не была б несчастной...

Дочка, доченька родная,
мой цветочек ясный!

Словно ягодку на солнце,
я тебя растила.

Дочка, доченька, голубка,
что ты натворила?..

Что ж... ступай в Москву к свекрови!

Так уж, видно, нужно,
мать послушать не хотела —
будь хоть ей послушна.

Поищи ее да с нею
там и оставайся.

Будь довольной, будь счастливой
и не возвращайся,
не ищи дорог обратных
из дальнего края...

Только кто ж меня схоронит
без тебя, родная?

Кто поплачет надо мною,
над старухой хилой?

И калину кто посадит
над моей могилой?

Кто молиться будет Богу
о душе, о грешной?...

Дочка, доченька родная,
мой цветочек вешний!..

Что ж... иди!»

И пошатнулась,
в путь благословляя:

«Бог с тобою!» — и упала,
словно неживая...

«Уходи! — прибавил старый —
что остановилась?..»

Зарыдала Катерина,
в ноги повалилась:

«Ой, прости ты мне, родимый,
что я натворила!

Пожалей свою Катрусю,
голубь сизокрылый!»

«Пусть Господь тебя прощает,
пусть жалеют люди!

Молись Богу и — в дорогу!
Отцу легче будет».

Еле встала, поклонилась,
пошла за ворота;
и остались в старой хате

старики сироты.
В тихом садике вишневом
помолилась Богу
и взяла щепоть землицы
с собою в дорогу.
«Не вернусь я в край родимый,
Катря говорила, —
мне в чужой земле чужие
выроют могилу.
Но пускай своей хоть малость
надо мною ляжет
и про горькую судьбину
людям пусть расскажет...
Не рассказывай, не надо,
где б ни закопали,
чтоб меня на этом свете
злом не поминали.
Ты не скажешь... Он вот скажет,
кто его родная!
Где ж мне, где искать приюта,
мать пресвятая?
Знать, найду приют навеки
под тихой водою.
Ты мой тяжкий грех замолишь
в людях сиротою,

без отца!..»

Идет Катруся.

Заплаканы очи;

голова платком покрыта,

на руках — сыночек.

Вышла в поле — сердце ноет,

назад оглянулась —

поклонилась, зарыдала,

в слезах захлебнулась.

Стала в поле, словно тополь

у дороги пыльной.

Как роса ночная, слезы

попились обильно.

И не видит за слезами

света Катерина,

только крепче прижимает

да целует сына.

А сыночек-несмышленьш

не знает заботы:

ищет пазуху ручонкой

да лепечет что-то.

За дубровой солнце село.

Наступает вечер.

Повернулась, зашагала

далеко-далече.

В селе долго говорили,
долго рассуждали.

Только тех речей родные
уже не слышали...

Вот что делают на свете
людям сами ж люди!

Того вяжут, того режут,
тот сам себя губит...

А за что? Господь их знает!

Глянешь — свет широкий,
только негде приютиться
людям одиноким.

Одному даны просторы
от края до края,

а другому — три аршина,
могила сырая.

Где ж те добрые, которых
день и ночь искали,

с кем хотелось жить на свете?

Пропали, пропали!

Есть на свете доля,
а кто ее знает?

Есть на свете воля,
где ж она гуляет?
Есть люди на свете —
в золоте сияют,
кажется, богаты,
а доли не знают —
ни доли, ни воли!
С бедой породнятся —
жупан надевают,
а плакать стыдятся.
Так берите ж золото,
богачами станьте,
а горькие слезы
для меня оставьте.
Затоплю недолю
горькими слезами,
затопчу неволю
босыми ногами!
Тогда я и весел,
богат и доволен,
когда мое сердце
забьется на воле!

Кричат совы, спит дуброва,
звездочки сияют.

У дороги в свежих травах
суслики шныряют.

Люди добрые заснули,
ночка всех покрыла —
кого счастье, кого горе
за день утомило.

Собрала всех, уложила,
словно мать, колышет...

Где ж Катруся приютилась,
под какую крышей?

Может, сына забавляет
в поле под копною?

Или прячется от волка
в лесу за сосною?

Брови черные, вам лучше б
вовсе не родиться,
коль такое горе с вами
может приключиться!

Что-то дальше будет с нею?
Горе, горе будет!

Ждет ее песок сыпучий
да чужие люди.

Ждет ее зима да вьюги...

Если ж тот найдется —
приласкает ли он сына
или отвернется?

С ним бы все она забыла,
всю тоску былую!

Он и встретит и приветит,
как свою родную...

Что ж, послушаем, посмотрим,
подождем немного...

А пока что разузнаем,
где в Москву дорога.

Ой, далекая дорога!

Мне она известна.

Только вспомню да припомню —
сердцу станет тесно.

Исходил ее, измерил —
дай Бог век не мерять!..

Рассказать про это горе —
никто не поверит.

Скажут: «Врет он и признаться
в том, что врет, не хочет.

Слова тратит понапрасну
да людей морочит...»
Правда, люди, правда ваша!
Вам какое дело
до того, что мое сердце
выплакать хотело!
Своего у всех немало,
всем и так тоскливо...
Чур же, хватит! А покамест
нате-ка огниво
да табак, чтобы тоскою
сердце не томилось.
А рассказывать про горе,
чтобы после снилось, —
да ну его, братцы, к бесу!
Лучше я прикину,
что в дороге повстречало
мою Катерину.

За Днепром, дорогой в Киев,
чумаки шагают,
Пугача в лесу зеленом
громко распевают.
Им навстречу молодица —
с богомолья, что ли...

Отчего ж печально смотрит,
от какой недоли?
С пустой торбой за плечами
да в свитке дырявой;
в левой руке палка. Тихо
спит малыш на правой.
С чумаками поравнялась,
малыша прикрыла.
«Укажите, где дорога
на Москву?» — спросила.
«На Москву? Вот эта будет.
А идешь далеко?»
«До Москвы я... Христа ради,
дайте одинокой!»
Попросила, застыдилась:
Ой, как брать ей тяжко!
И не надо б... да ребенок
голоден, бедняжка!
Обливаясь слезами,
пошла, заспешила.
В Броварах медовый пряник
Ивасю купила...
Шла Катруся. У прохожих
путь разузнавала.
Приходилось — под забором

с сыном ночевала...

Вот на что Катрусе — девчата, смотрите,
глазагодились,— слезы проливать!
Кайтесь-зарекайтесь, учитесь, живите,
чтоб не довелось москаля искать,
чтобы не блуждать вам, как она блуждает.
Не спрашивать после — за что осуждают,
за что не пускают в хату ночевать.

Что же спрашивать напрасно,
люди разве знают;
когда сам Господь карает,
и они карают...

Люди гнутся, словно лозы,
куда ветер веет.

Сиротине солнце светит
(светит, да не греет),
но и солнце б люди скрыли,
если б сил хватило, —
чтоб сироте не светило
да слез не сушило.

А за что, отец небесный,
такая награда?
В чем бедняга провинилась?
Чего людям надо?

Чтобы плакала, томилась...
Не плачь, Катерина!
Горьких слез не лей при людях,
терпи, сиротина!
А чтоб личико не блекло
с черными бровями,
до зари в лесу дремучем
умойся слезами!
Умоешься — не увидят
и не насмеются;
и вздохнет свободней сердце,
пока слезы: льются.

Вот какое горе может повстречаться;
поиграл и бросил Катрусю москаль.
Недоля не видит, к кому приласкаться,
а люди хоть видят, да людям не жаль:
«Пускай, мол, от горя погибнет дивчина,
коли не умела себя уважать».
Глядите ж, девчата, чтоб в злую годину
и вам москаля не пришлось бы искать!
Где же Катря бродит?
Под забором ночевала,
до зари вставала.
До Москвы дойти спешила —

вдруг зима настала.
Свищет вьюга-завируха,
тяжко Катерине:
в рваной свитке, в лаптях старых
на морозе стынет.
Идет, смотрит Катерина —
что-то там мелькает...
Москали, наверно, едут...
сердце замирает.
Полетела им навстречу:
«Может быть, видали,
Где Иван мой чернобровый?»
«Не знаем!» — сказали.
Насмеваются над нею,
шутят, озоруют:
«Ай да баба! Ай да наши!
Хоть кого надуют!»
Поглядела Катерина:
«Ой вы, люди, люди!...
Успокойся, мой сыночек!
Что будет, то будет.
Побредем с тобою дальше,
может, и отыщем.
Я отдам тебя и лягу
в яму на кладбище».

Поднялась навстречу вьюга
с буйными ветрами.
Стала Катря среди поля,
залилась слезами.
Стихла в поле завируха,
пронеслась, промчалась.
Поплакала б Катерина,
да слез не осталось.
Поглядела на сыночка:
умытый слезою.
Дышит, смотрит, как цветочек
утренней порою.
Улыбнулась Катерина,
горько улыбнулась,
как змея, под самым сердцем
что-то повернулось.
Огляделась Катерина —
лес вдали чернеет,
а под лесом чья-то хата
прямо перед нею.
«Пойдем, сын мой... Скоро вечер.
Пусть, может статья.
А не пустят — у порога
нам всю ночь валяться.

Заночуем возле хаты,
в холоде, в тумане...
Где ж один ты заночуешь,
коль меня не станет?
На дворе, в собачьей будке,
с собаками вместе!
Злы собаки — покусают,
да не обесчестят.
Над тобой они не станут
злобно насмехаться...
Ой ты, горе мое, горе,
куда ж дню деваться?»

Сирота-собака — и у той есть доля,
к собаку люди могут приласкать;
бьют ее и держат на цепи в неволе, —
но, глумясь, не спросят про родную мать.
А этого спросят, грязью забросают,
не дадут подняться — заключают, забьют...
На кого собаки на улице лают?
Кто под тыном ночью ищет свой приют?
Кто водит убогих? Подкидыш чернявый...
Красивые брови — одна его слава,
и тем красоваться люди не дают...

И на горе и под горою,
как старцы с гордой головою,
дубы столетние стоят.
Внизу — плотина, вербы в ряд,
и пруд, завейный пургою,
и прорубь в нем, чтоб воду брать...
Сквозь тучи солнце покраснело,
как колобок, глядит с небес!
Взметнулась вьюга, налетела,
ни зги не видно в мути белой,
а слышно только — стонет лес.

Воет, свищет завируха,
ревет над землею,
в белом поле, словно в море,
катится волною.
В лес пойти лесник собрался,
только разве выйдешь!
Так и крутит, так и вертит —
света не увидишь!
«Вот так вьюга! Вот так заметь,
тут уж не до леса!...

Что такое?... Что за люди?
Там же их до беса!
Знать, нелегкая их носит.
а может, за делом,
может, москали, Ничипор?
Все от снега белы!»
«Москали? — У Катерины
руки затряслися.—
Где они, мои родные?»
«Да вон там, взглядися!»
Без оглядки Катерина
за дверь полетела.
«Знать, Москва у ней и вправду
в голове засела:
москаля звала до света,
до света металась...»
Через пни, через сугробы
Катерина мчалась.
На снегу босая стала,
утерлась руками.
Москали навстречу едут,
как один, верхами.
«Ой ты, горе, ой ты, доля!»
Как вперед заглянет,
видит — первый едет старший.

«Мой любимый, Ваня!
Мое сердце, мое счастье!
Словно в воду канул...»
Ухватилась за стремя,
а он и не глянул,
на ходу коня пришпорил...
«Что ж спешишь ты очень?
Позабыл ли Катерину
Иль узнать не хочешь?
Я твоя, твоя Катруся,
сокол ты мой ясный!
Погляди сюда и стремя
не рви понапрасну».
А он — будто и не видит,
погоняет, скачет.
«Пожалей меня, голубчик!
Видишь, я не плачу.
Не узнал меня ты, что ли?
Посмотри, взгляды!
Видит Бог, что я — Катруся!»
«Дура, отвяжися!
Прочь безумную возьмите!»
«Боже ты мой, Боже!
И он меня покидает!
А клялся мне кто же?»

«Уведите! Что стоите?»

«Ой, за что ж на муку
родилась я? На кого ж ты
подымаешь руку?»

На Катрусю, что с тобою
в садике ходила,
на Катрусю, что сыночка
тебе подарила?

Мой любимый, мой желанный,
ты хоть не чурайся!

Я тебе батрачкой стану...

С другою встречайся,
с целым светом!.. Я забуду,
что тебя ласкала,

народила тебе сына,
позор принимала...

Принимала-горевала,
все переносила...

Брось меня, забудь навеки —
не покинь хоть сына!

Не покинешь?.. Не оставишь,
как меня когда-то?...

Ты его сейчас увидишь...»

И кинулась в хату.

Возвращается из хаты,

несет ему сына;
заплаканный, неповитый,
смотрит, сиротина.
«Вот он, вот он! Погляди-ка!...
Куда ты девался?...
Нет... уехал... От родного
сына отказался...
Боже мой, куда ж я денусь
с малым сиротою?
Ой, москалики, возьмите,
возьмите с собою!
Не чурайтесь, не дайте
погибнуть родному.
Отвезите сиротину
к своему старшому!
Если сына он покинул.
то и я покину,
пусть отца не покидают
горе да кручина.
Сын мой! Я в грехе великом
тебя породила,
вырастай же на смех людям!»
И в снег положила.
«Поищи отца родного,
А я — наискалась...»

Да с дороги — прямо в чащу,
а дитя осталось.
Плачет, стынет на дороге,
а те ускакали.
Так и лучше б, да на горе
люди подобрали.

Бежит по лесу босая
и в сугробах тонет,
то Ивана проклиная,
то просит, то стонет.
До опушки добежала —
да к пруду... Спустилась,
возле проруби широкой
вдруг остановилась.
«Прими, Боже, мою душу,
а ты — мое тело!..»
И вода над нею глухо,
глухо прошумела.

Чернобровая Катруся
нашла, что искала...
Над прудом повеял ветер,
и следов не стало.
То не ветер, то не буйный,

что дубы ломает,
то не горе, то не злое,
что мать умирает,
пусть ее земля сырая
навек приютила —
слава добрая осталась,
осталась могила.
Пусть насмешкой сиротину
люди в сердце ранят —
он поплачет над могилой,
вот и легче станет.
А тому на белом свете —
что тому осталось,
от кого отец отрекся
и мать отказалась?
Что подкидышу осталось?
Слезы да тревоги,
да еще песок сыпучий
на большой дороге.
На что ему эти брови —
чтоб его узнали?
Подарила их, не скрыла...
Лучше б полиняли!

Шел кобзарь в далекий Киев,
шел и сел дорогой.

Тут же, с нищенской сумою,
мальчик чернобровый.

Головой на грудь склонился,
дремлет, засыпает.

А тем временем Иисуса
кобзарь напевает.

Кто проходит, тот не минет —
грош иль бублик кинет;

кто — слепому, а девчата —
тому сиротине.

Чернобровые дивятся:

«Голый, босый, хилый.

Мать дала такие брови —
счастье дать забыла!»

Едет пышная карета

в Киев шестернею,

господин сидит в карете

со своей семьей.

Вот она остановилась

перед бедняками.

Подбежал Ивась к оконцу,
замахал руками.

Ивасю бросает деньги
молодая пани.

Глянул пан — и отвернулся
сразу от Ивана.

Он узнал и эти брови,
он узнал и очи...

Повстречал родного сына,
только взять не хочет.

«Как зовут?» — спросила пани.

«Ивась». — «Какой милый!»

Кони тронулись, и пылью
бедняков покрыло...

Посчитали, что собрали,
потихоньку встали,

помолилися на солнце,
пошли, зашагали.

Тарасова ночь

Сидит кобзарь у дороги,
на кобзе играет;
кругом хлопцы да девчата,
как жар-цвет, сияют.
Поет кобзарь, струной вторит,
говорит словами,
как соседи — орда, ляхи —
бились с казаками;
как сходились запорожцы
поутру в кручине,
хоронили товарища
в зеленой лощине.
Поет кобзарь, струны вторят,
и горе смеется...
«Была пора гетманщины,
назад не вернется;
была пора — пановали,
да больше не будем,
только славы казачества
вовек не забудем!
Идет туча от Лимана,

а другая с поля;
затужила Украина —
такая уж доля!
Затужила, зарыдала,
как младенец малый.
Никто больше не поможет...
Казачество пало;
слава пала, отцовщина —
все гибнет на свете;
вырастают, некрещены,
казацкие дети;
милуются, невенчаны;
без попа хоронят;
запродана врагам вера —
печать на иконе!..
Как вороны, черной стаей
ляхи, униаты
налетают — не дождемся
пönyне расплаты!
Поднимался Наливайко —
не стало Кравчины.
Поднялся казак Павлюга —
пропал, неповинный!
Поднялся Тарас Трясило
с горькими слезами:

«Бедная ты Украина,
сломлена врагами!
Украина, Украина!
Мать моя родная!
Только вспомню твою долю,
душой зарыдаю!
Куда делось казачество,
жупаны цветные?
Куда делась доля-воля,
гетманы седые?
Где все это? Ушло с дымом?
Или затопило
сине море твои горы,
курганы-могилы?
Молчат горы, шумит море,
курганы тоскуют,
гнутся дети казацкие
под вражьей рукою!
Спите, горы! Шуми, море!
Гуляй, ветер, в поле!
Плачьте, дети казацкие, —
такая вам доля!»
Поднялся Тарас Трясило:
за веру родную,
поднялся он, сизокрылый,

час расплаты чуя!
Поднялся Тарас Трясило:
«Довольно томиться!
А пойдём-ка, паны братья,
с поляками биться!»
Уж не три дня, не три ночи
бьется наш Трясило.
От Лимана до Трубайла
поле кровь покрыла.
Ослабел тут казачина,
духом омрачился.
А проклятый Конецпольский
вмиг возвеселился;
Собрал шляхту воедино
и всех угощает.
На ту пору свое войско
Тарас созывает:
«Товарищи атаманы —
братья мои, дети!
По совести мне скажите —
как быть нам на свете?
Упились вражьи ляхи
казацкою кровью».
«Что ж, пускай они пируют
себе на здоровье!

Пускай ляхи веселятся
нынче до заката,
А ночь-матерь нам поможет —
найдем супостата».
Легло солнце за горою,
звезды засияли,
а казаки, словно туча,
ляхов обступали.
Как стал месяц среди неба,
пушки заревели;
пробудились ляшки-панки —
бежать не успели!
Пробудились ляшки-панки,
а встать — и не встали:
взошло солнце — ляшки-панки
вповалку лежали.

Гадюкою багровою
несет Альта вести, —
воронье чтоб налетало
вельможных наестся.
Воронье и налетело
панами кормиться.
Тут сходилось казачество
Богу помолиться.

Как закаркал черный ворон,
выпивая очи;
Как запели казаченьки
песню о той ночи —
ночи грозной и кровавой,
что славой покрыла
и Тараса и казаков,
а ляхов сгубила.

Над речкою, в чистом поле
курганы чернеют;
где казачья кровь алела —
трава зеленеет.
Сидит ворон на кургане —
каркает, голодный...
Казак вспомнит и заплачет
о жизни свободной».
Умолк кобзарь, потупился:
Руки не играют.
Кругом хлопцы да девчата
Слезы утирают.

Пошел кобзарь по улице —
да с горя как грянет!
Кругом хлопцы в пляс пустились,

а он подпевает:

«Коли сталося — значит, сталося!

Погодите, детки, малость,

а я в корчме погуляю,

свою женку повстречаю,

вместе с нею пьян напьюся,

над врагами посмеюся».

Перебендя

Перебендя слепой, старый, —
кто его не знает!

Он повсюду скитается,
на кобзе играет.

Кто ж играет, того люди
знают, привечают:

он тоску им разгоняет,
хоть и сам страдает.

Горемыка, он ночует
и днюет под тыном —

нет ему угла на свете;
горькая судьбина

насмехается над старым,
что ни день — то хуже!

А ему — ничто: затянет
«Ой, не шуми, луже!..»

Станет петь, да и припомнит,
что он сиротина;

погорюет, потоскует,
прислонившись к тыну.

Вот таков-то Перебендя —
старый он да странный!
Запоет о *Чалом* — кончит
Горлицей нежданно;
С дивчатами на выгоне —
Гриця да *Веснянку*;
в шинке, с парубками вместе, —
Сербина, *Шинкарку*,
с женатыми на пирушке
(где свекровь презлая) —
о недоле, вербе в поле,
а потом — *У гаю*;
на базаре — о *Лазаре*,
или — чтобы знали —
тяжко, скорбно запоет он,
как Сечь разоряли.
Вот таков-то Перебендя —
старый он да странный!
Начнет шуткою, а кончит
слезами нежданно.

Ветер веет, повеваает,
по полю гуляет.
Сидит кобзарь на кургане,
на кобзе играет.

Вкруг, как море широкое,
зеленеют степи;
за курганами курганы
вдаль уходят цепью.
Чуб седой, усы седые
треплет ветер яро;
вдруг уляжется послушать,
о чем поет старый;
как сердце смеется, слепой старик плачет...

Он слушает... веет...

Укрылся вдали
на степном кургане от людей, незрячий,
чтоб по полю ветры слова разнесли,
чтоб людям не слышать — ведь то Божье
слово,

то сердце неспешно с Богом говорит,
то сердце щебечет Господнюю славу,
а дума по свету на туче летит.

Орлом сизокрылым летает, ширяет,
небо голубое широкими бьет;
присядет на солнце, его вопрошает:
Где оно ночует? Как оно встает?

Послушает море, о чем плещет в споре,
и гору он спросит: молчишь почему?
И снова на небо — на земле ведь горе,

ведь на ней, широкой, нет угла тому,
кто сердцем все знает, кто сердцем все чу-
ет:

о чем ропщет море, где солнце ночует —
пристанища нету на свете ему!

Один, точно солнце на небе высоком;
о нем молвят люди: «С живыми — живой!»

А если б узнали, что он, одинокий,
поет на кургане, шепчется с волной,
то Божье слово давно б осмеяли,
его бы глупцом обозвали, прогнали.

«Пусть бродит,— сказали б, —
над морем, шальной!»

Хорошо, kobзaрь, отец мой,
хорошо, что ходишь
на курган и словом, песней
душу там отводить!

И ходи, мой голубь сизый,
до поры, покуда
не заснуло сердце, — пой там
вдалеке от люда.

А чтоб люди не чурались,
тешь их иногда ты...

Что ж, пляши под дудку пана —
на то он богатый!

Вот таков-то Перебендя —
старый он да странный!
Начнет свадебной, а кончит
грустною нежданно.

К Основьяненко

Бьют пороги; всходит месяц,
как в древнее время.
Нету Сечи; нет того, кто
верховодил всеми.
Нету Сечи! Очереты
над Днепром вздыхают:
«Куда наши дети делись?
Где они гуляют?»
Чайка с криком реет, словно
мать над сыном стонет,
солнце греет, ветер веет,
пыль по степи гонит.
А над степью той курганы
стоят и тоскуют,
у буйного спрашивают:
«Где ж наши пануют?
Где пануют, где пируют?
Где запропалились?
Воротитесь, гляньте: в поле
колосья склонились.
Там, где ржали ваши кони,

где трава шумела,
там, где кровь татар и ляхов
морем багровела...
Воротитесь!»
«Не вернуться! —
грянули, сказали
волны в море. — Не вернуться,
навек пропади».
Правда, море, правда, волны:
такая их доля!
Не дождемся долгожданных,
не дождемся воли.
Схоронили казачество
седые курганы,
не покроют Украину
красные жупаны.
Убогая, сиротою
над Днепром рыдает;
мук ее никто не видит,
слез не замечает.
Видит недруг и смеется...
Смейся, враг лукавый,
да не очень: знай — все гибнет,
но не гибнет слава!
Встанет слава и расскажет,

что было на свете,
и где — правда и где — кривда,
скажет — чьи мы дети.
Наша дума, наша песня
не умрет, не сгинет...
Вот в чем, люди, наша слава,
слава Украины!
Не украшена ни золотом,
ни хвастливой ложью,
громозвучна и правдива,
будто слово Божье:
Правда ль, батько-атамане?
Правда ль — песня эта?
Эх, если бы!... Да что скажешь,
коль уменья нету.
А к тому же здесь мне люди
враждебны и чужды.
Скажешь ты: «Не уступай им!» —
да что в этом нужды?
Посмеются над псалмами,
что вылью слезами;
посмеются... Тяжко, батько,
тяжко жить с врагами!
Поборолся бы я с ними,
если б сил хватило;

и запел бы я, да песню
нужда задушила.
Таково-то мое горе!
Я зимой суровой
по снегам брожу, и трудно
Не шуми, дуброва,
мне запеть... А ты, как прежде,
с песней неразлучен!
Тебя люди уважают
за голос могучий.
Пой про Сечь им и степные
курганы — могилы,
где какой курган насыпан,
кого схоронили;
пой про диво, что пропало
в минувшие лета!
Батько! Грянь же, чтобы стало
слышно всему свету:
как рубилась Украина
за волю и право,
как по свету полетела
казацкая слава:
Батько, грянь, орел наш сизый!
Пусть хоть раз единый
нагляжуся я сквозь слезы

на мать-Украину;
пусть хоть раз еще услышу,
как море играет,
как девушка под вербою
Гриця запеваает;
пусть я вспомню на чужбине
радость молодую,
пока в гроб чужой не лягу
и в землю чужую!

Иван Подкова

I

Было время — на Украине
пушки грохотали.
Было время — запорожцы
жили-пировали.
Пировали, добывали
славы, вольной воли.
Все то минуло — остались
лишь курганы в поле.
Те высокие курганы,
где лежит зарыто
тело белое казачье,
саваном повито.
И чернеют те курганы,
словно горы в поле,
и лишь с ветром перелетным
шепчутся про волю.
Славу дедовскую ветер
по полю разносит...

Внук услышит — песню сложит
и с той песней косит.

Было время — на Украине
в пляску шло и горе:
как вина да меду вдоволь —
по колено море!
Да, жилось когда-то славно!
И теперь вспомнешь —
как-то легче станет сердцу,
веселее взглянешь.

II

Встала туча над Лиманом,
солнце заслоняет:
лютым зверем сине море
стонет, завывает.
Днепр надулся. «Что ж, ребята,
время мы теряем?
В лодки! Море расходилось...
То-то погуляем!»

Высыпают запорожцы,

вот Лиман покрыли
их ладьи. «Играй же, море!»
Волны заходили...
За волнами, за горами
берега пропали.
Сердце ноет; казаки же
веселее стали.
Плещут весла, песня льется,
чайка вокруг летает...
Атаман в передней лодке —
путь-дорогу знает.
Сам все ходит вдоль по лодке,
трубку сжал зубами;
взглянет вправо, взглянет влево
где б сойтись с врагами?
Закрутил он ус свой черный,
вскинул чуб косматый,
поднял шапку — лодки стали.
«Сгинь ты, враг проклятый!
Поплывемте не к Синопу,
братцы атаманы,
а в Царьград поедем — в гости
к самому султану!»
«Ладно, батько!» — загремело.
«Ну, спасибо, братцы!» —

И накрылся. Вновь горами
волны громоздятся...
и опять он вдоль по лодке
ходит, не садится;
только молча, исподлобья,
на волну косится.

Гайдамаки

Пролог

Все в мире проходит. Живет — умирает...
Куда ж оно делось? Откуда взялось?
Ни глупый, ни мудрый про это не знает.
Извечно ведется: одно зацвело —
другое увяло, навеки увяло...
И ветры сухую листву разнесли.
А солнце встает, как и прежде вставало,
и звезды плывут, как, бывало, плыли
и плыть всегда будут, и ты, белолицый,
по синему небу ты будешь гулять
и будешь смотреться в болотце, в криницу,
в бескрайнее море — и будешь сиять,
как над Вавилоном, над его садами
и над тем, что будет с нашими сынами.
Конца ты не знаешь! Люблю толковать,
делиться с тобою, как с братом, с сестрою,
и петь тебе песни твои же спроста...
Скажи ты мне ныне: как быть мне с тос-

кою?

Я не одинокий, я не сирота:
Есть у меня дети, да куда мне деть их?
Закопать с собою? Грех: душа жива!
Может быть, ей легче будет на том свете,
как прочтет кто-либо те слезы-слова,
Что так бескорыстно она изливала
и ночью украдкой над ними рыдала.
Нет, не закопаю. Душа-то жива!
Как синему небу, как белому свету —
ни конца, ни края душе моей нету.
А где она будет? Чудные слова!
Пускай ее вспомнят хоть на этом свете,
бесславному тяжело его покидать.
Девчата, вам надо ее вспоминать,
она вас имела всегда на примете
И песни любила про вас напевать.
Пока солнце встанет — отдохните, дети!
Вожака вам, дети, хочу подыскать.

Сыны мои, гайдамаки!
Волен свет широкий.
Погуляйте, поищите
по себе дороги.
Сыны мои молодые,

несчастливые дети,
кто без матери родимой
встретит вас на свете?..
Сыны мои, на Украину
летите орлами.
Пусть хоть горе приключится
не в чужбине с вами.
Там и ласковую душу
повстречать не чудо.
Там помогут, там наставят,
а тут... А тут — худо.
Пустьят в хату — насмеются,
дурачком считают.
До того умны-учены —
солнце осуждают:
мол, взошло, да не оттуда,
да не так и село.
Мол, вот так-то лучше было б...
Что тут будешь делать?!
Надо слушать, может, вправду
не так солнце светит.
Потому — народ ученый:
знают всё на свете.
А уж вам-то к ним явиться —
как зовут — не спросят.

Поглядят, поведут носом —
и под лавку бросят.

Дескать, ладно, подождите,
найдется писака:

он по-нашему расскажет
и про гайдамаков,

а то вышел дурачина
с мертвыми словами

да какого-то Ярему
ведет перед нами.

Неуч, неуч, дурачина!

Видно, били мало.

От казачества — курганы
(что еще осталось?),

да и те давно разрыты,
ветер пыль разносит.

А он думал, слушать станем,
как слепцы гундосят.

Понапрасну ты старался,
человек хороший.

Хочешь славы, денег хочешь —
так пой про Матрешу,

про Парашу, радость нашу,
султан, паркет, шпоры.

Вот где слава! А то тянешь —

Шумит сине море...
А сам плачешь. Да с тобою
весь твой люд сермяжный...
Вот спасибо умным людям,
рассудили важно!
Только жаль, что кожух теплый
на другого шитый.
Очень умны ваши речи,
да брехней подбиты.
Не прогневайтесь, а слушать
я вас не желаю.
Вы разумны, а я глупый...
И я вас не знаю.
Я один в родимой хате
запою украдкой,
запою про то, что любо,
и заплачу сладко.
Запою — играет море,
ветер в поле ходит,
степь темнеет, и курганы
с ветром речь заводят.
Вот раскрылись, развернулись
курганы глухие,
и покрыли степь до моря
казаки лихие.

Атаманы с бунчуками
войско озирают.

Пляшут кони. А пороги
ревут, завывают.

Ревут, стонут, негодуя,
сурово бушуют.

«Чем вы, батьки, недовольны?» —
у старых спрошу я.

И ответят мне седые:

«Молчи, сиротина!

Днепр сердитый негодует,
плачет Украина...»

И я плачу. А тем часом
в жупанах богатых
идут, идут атаманы
с гетманами в хату.

Входят разом в мою хату
ради доброй встречи
и со мной про Украину
начинают речи.

Рассуждают, вспоминают,
как Сечь собирали,
как через пороги к морю
лихо проплывали.

Как гуляли в Черном море,

грелися в Скутари,
как закуривали люльки
в Польше на пожаре,
как в отчизну возвращались,
как они гуляли.

«Жарь, кобзарик, лей, шинкарик!»
бывало, кричали.

Шинкаръ мечется, летает,
шинкаръ так и вьется.

Кобзаръ жарит, а казаки —
аж Хортица гнется —

Гопака дают такого,
метелицу разом,
кухоль ходит, высыхает —
не моргнешь и глазом!

«Гуляй, паны, без жупанов,
гуляй, ветер, в поле!

Жарь, кобзарик, лей, шинкарик,
пока встанет доля!»

Друг за другом ходят кругом
парубки с дедами.

«Так-то, хлопцы! Добре, хлопцы!
Будете панами».

Пир горою. А старшины
на совете вроде:

меж собою речь заводят,
по рядам проходят.
Не стерпели, не сдержали
лихости казачьей —
припустили каблуками...
Я смеюсь и плачу.
От радости плачу, что в хате убогой,
что в мире великом я не одинок.
И в хате убогой, как в степи широкой,
казаки гуляют, гомонит лесок.
В хате предо мною сине море ходит,
темнеют курганы и тополь шумит,
тихо-тихо Гриця дивчина заводит.
Я не одинокий, людьми не забыт.
Вот где они, мои деньги,
вот где моя слава!
А за ваш совет спасибо,
за совет лукавый.
Пока жив, с меня довольно
и мертвого слова,
чтобы вылить горе, слезы...
Бывайте здоровы!
Пойду сынов-гайдамаков
в путь отправлю снова.
Может быть, найдут какого

казака седого.

Может, он их встретит лаской,
теплыми слезами.

И того с меня довольно —
пан я над панами.

Так-то, сидя в своей хате,
думаю в тревоге:

«С кем пойду и кто им будет
вожаком в дороге?»

На дворе давно светает,
встали гайдамаки.

Помолились, снарядились
добрые казаки.

Поклонились, как сироты,
печально и строго.

«Благослови,— молвят,— батько,
в дальнюю дорогу,
пожелай нам доброй доли,
радости на свете».

«Стойте, хлопцы, свет — не хата,
а вы точно дети
неразумные. Кто будет
вожаком надежным?
Кто наставит? Тяжело мне,

на душе тревожно.
Сам растил вас, мои дети,
на ноги поставил.
В свет идете, а теперь там
все книжные стали.
Не судите, что в науках
помочь не пытался.
Самого учили — били.
какой был — остался!
Тма, мна знаю, а оксию
не знаю доныне...
Ладно, дети, погодите:
есть вожак — не кинет.
Есть у меня батько славный
(родного-то нету!).
У него пойдём, попросим
доброго совета.
Сам он знает, что не сладко
сироте без роду;
сам — казак, душа простая,
казацкого роду,
и простое наше слово
он любит и знает,
что певала мать родная,
сына пеленая;

не чурался того слова,
что слепец под тыном
напевает, пригорюнясь,
про мать-Украину.
Любит батько песню-правду
о казацкой славе.
Любит крепко. Идем, хлопцы,
он нас не оставит.
Кабы он меня не встретил,
то, наверно б, ныне
я лежал бы под снегами
на дальней чужбине,
схоронили б меня люди,
забыли б то место...
Тяжело страдать и гибнуть...
За что — неизвестно.
Но минуло... Чтоб не снилось!
Идемте-ка, дети.
Коли мне не дал погибнуть,
запропасть на свете,
то и вас любого примет,
как родного сына.
Там помолимся — и гайда
в путь на Украину!»
Принимай поклон наш, батько!

С твоего порога
благослови моих деток
в дальнюю дорогу!

Интродукция

Было время, гордо шляхта
голову носила,
с москалями и с ордою
мерялася силой,
с турком, с немцем... Было время,
мало ль что бывало!
Шляхта Польшей управляла,
чванилась, гуляла.
Королем играла шляхта.
И король тот — горе! —
так скажу: не Ян Собеский,
не Стефан Баторий!
Все другие перед шляхтой
в рот воды набрали.
Сеймы, сеймики ревели,
соседи молчали.
Да смотрели, как из Польши
короли сбегали,

да слушали, как шляхетство
глотки надрывает.

«Nie pozwalam! Nie pozwalam!» —
шляхта завывает.

А магнаты палят хаты,
сабли закаляют.

Испокон дела такие
творились в державе,
да уселся Понятовский
на престол в Варшаве.

Решил он со шляхтой быть построже
прибрать к рукам — да не сумел!

Добра хотел ей, а быть может,
еще чего-нибудь хотел.

Одно лишь слово «Nie pozwalam»
отнять у шляхты думал он
сперва... Но Польша запылала,
паны взбесились. Крик и стон...

«Гонору слово, дарма праця!

Пся крев! Прислужник москаля!»

На клич Пулавского и Паца
встает шляхетская земля...

И — разом сто конфедераций.

Разбрелись конфедераты
по Литве, Волыни,

по Молдавии, по Польше
и по Украине.
Разбрелись — и позабыли
о воле, о чести.
Сговорились с торгашами,
чтобы грабить вместе.
Что хотели, то творили,
церкви осквернили...
А в ту пору гайдамаки
ножи освятили.

Галайда

«Ярема, герш-ту, хам ленивый,
веди кобылу, да сперва
подай хозяйке туфли живо,
неси воды, руби дрова.
Корове подстели соломы,
посыпь индейкам и гусям.
Да хату вымети, Ярема.
Ярема, эй! Да стой же, хам!
Как справишься, беги в Ольшану —
хозяйке надо. Да бегом!»
Ярема слушает молчком.

Так измывался утром рано
шинкарь над бедным казаком.
Не знал Ярема о другом...
Не знал горемычный, что зрела в нем сила
что сможет высоко над небом парить,
не знал, покорялся... О, Боже мой милый,
трудно жить на свете, а хочется жить!
Любо видеть солнце, как оно сияет,
хорошо послушать, как море играет,
хорошо весною по лесу ходить,
знать, что сердце чье-то по тебе томится...
О, Боже мой милый, как радостно жить.

Сирота Ярема, сирота убогий,
ни сестры, ни брата — никого не знал.
Вырос у хозяйских, у чужих порогов,
но не проклял доли, людей не ругал.
И за что ругать их? Разве они знают,
кого встретить лаской, кого истязать?
При готовой доле пусть себе гуляют,
а сиротам долю самим добывать.
Бывает, заплачет Ярема украдкой
и то не о том, что невесело жить,
что-нибудь припомнит, помечтает сладко.
Да и за работу. Живи — не тужи.

Мать, отец не в радость, светлые палаты,
если не с кем сердце сердцу поверять.

Сирота Ярема — сирота богатый:

есть ему с кем плакать, кого утешать.

Есть карие очи — звездами сияют,

есть белые руки — нежно обнимают,

есть девичье сердце — согрето любовью,

что плачет, смеется, стучит, затихает,

над сиротским изголовьем

среди ночи витает.

Вот такой-то мой Ярема,

сирота богатый.

Был и я таким когда-то,

да прошло, девчата.

Поразвевалось, минуло,

и следа не видно.

Плачет сердце, как припомню...

горько и обидно.

Куда все девалось, куда запропало?

Легче было б слезы, тоску выливать.

Люди увидали, ведь им было мало:

«Зачем ему доля? Лучше отобрать.

Он и так богатый!...»

Богат на заплаты

да еще на слезы — кому утирать?

Доля моя, доля! Где тебя искать?
Вернись, моя доля, вернись в мою хату,
приснись мне хотя бы... Не хочется спать!

Люди добрые, простите,
что не к ряду начал.
Про свою запел недолю...
да не мог иначе.
Может, встретимся, покамест
еще ковыляю
за Яремою по свету,
а может... не знаю.
Худо, люди! Всюду — худо!
Нет нигде отрады.
Куда гнут, как говорится,
туда гнуться надо.
Гнуться молча, улыбаться,
не подавать виду,
чтобы люди не узнали
про твою обиду.
Пусть их ласка... достается
тому, кто доволен,
пусть во сне ее не видит
сиротская доля!
И рассказывать постыло,

и молчать нет силы.
Лейся ж, слово! Лейтесь, слезы,
чтобы легче было.
Я поплачу, поделюся
моими слезами —
да не с братом, не с сестрою,—
с глухими стенами
на чужбине. А покамест
корчму приоткроем:
что там делается?

Лейба
согнулся дугою,
у постели над светильней
считает монеты.
А в постели — вся раскрыта
и полураздета —
спит еврейка молодая
на жарких подушках,
разметалась, раскидалась,
томно ей и душно.
Спит тревожно, беспокойно, —
одинокой тяжело,
ночью словом обменяться
не с кем ей, бедняжке,

хороша, бела еврейка!
Что-то шепчет пылко!
Это — дочь. Отец же — рядом,
чертова копилка.
Дальше — Хайка, спит хозяйка
в перинах поганных.
Где ж Ярема? Тот шагает
по пути в Ольшану.

Конфедераты

«**О**ткрывай живей, Иуда,
пока не битый ты у нас!
Ломайте двери, ждуть докуда,
прокуда старый!»
«Я сейчас! Сейчас, постойте!..»
«Или с нами
шутить задумал? Что там ждуть!
Ломайте двери!»
«Я? С панами?
Как можно? Дайте только встать!
(А сам: «Вот свиньи-то!») Как можно?»
«Ломайте двери, что смотреть!»
«Прошу панов ясновельможных...»

Упала дверь, взвилась плеть,
метнулся Лейба с перепугу.
«На, лукавый, на, поганый,
На, свиное ухо!»
За ударами удары
посыпались глухо.
«Не шутите, ваша милость!
Прошу, прошу в хату!»
«На еще раз! На еще раз!
Получай, проклятый».
Поздоровались. «Где дочка?»
«Померла, панове...»
«Лжешь, Иуда!» Снова плети.
«Носи на здоровье!..»
«Ой, паночки-голубочки,
в живых ее нету!»
«Брешешь, шельма».
«Провались я
на месте на этом».
«Признавайся, куда спрятал.
поганая рожа!»
«Померла. Не стал бы прятать,
карай меня, Боже!»
«Ха, ха, ха, ха! Литанию
читает, лукавый,

а не крестится!»

«Панове, не умею, право».

«Вот так!» Лях перекрестился,
а за ним Иуда.

«Браво, браво, окрестили!

За такое чудо

магарыч с тебя придется,

слышишь, окрещенный,

магарыч!»

«Сейчас! Минутку!»

Ревут оглашенно.

Поставец, горилки полный,

по столу гуляет.

«Еще Польшка не згинела», —

не в лад запевают.

А хозяин окрещенный

из погреба в хату

знай шныряет, наливает,

а конфедераты

знай кричат: «Горилки! Меду!»

Лейба суетится.

«Эй, собака, где цимбалы?! —

ходят половицы. —

Краковяк играй, мазурку,

давай по порядку!»

Лейба служит, хоть бормочет:

«панская ухватка!..»

«Ладно, будет. Запевай-ка».

«Не могу, не стану».

«Запоешь, да будет поздно!»

«Что же петь вам? Ганну?..

«Жила-была Ганна

в хате при дороге,

божилася

и клялася,

что не служат ноги;

на панщину не ходила,

охала, стонала,

только к хлопцам,

что ни вечер,

в потемках шныряла».

«Будет, будет. Не годится,

схизматская песня!

Пой другую!» — «А какую?

Вот такую если:

перед паном Федором,

ходит жид ходором,

и задком

и передком —

перед паном Федорком».

«Ладно, хватит! Плати деньги!»

«Как? За что же плата?»

«А ты думал, даром слушать
будем мы, проклятый?..

Думал, шутим? Доставай-ка
да плати, небитый».

«Где же взять мне? Ласка ваша —
вот весь мой прибыльок».

«Лжешь, собака! Плати деньги!
Доставай — да быстро!»

И пошли гулять нагайки
по спине со свистом.

Вдоль и поперек стегали,
аж клочье летело.

«Нет, нету ни копейки,
режьте мое тело!

Ни копейки! Гвалт! Спасите! —
кричит Лейба криком.—

Погодите... Я скажу вам...»

«Скажи-ка, скажи-ка!

Да опять брехать не вздумай,
брехня не поможет».

«Нет... В Ольшане...»

«Твои деньги?»

«Мои? Спаси, боже!..

Я хотел сказать... В Ольшане,
там живут схизматы...»

«Да! Живут по три семейства
на каждую хату?

Знаем, знаем! Мы их сами
туда посогнали».

«Нет, не то... Прошу прощенья,—
чтоб беды не знали,

чтоб вам только деньги снились!
Ктитор там в Ольшане.

Может, слышали, есть дочка
у него, Оксана.

Спаси, боже, как красива,
да и деньги тоже...

Не его, а все же деньги,
хоть они и божьи...»

«Лишь бы деньги! Правда, Лейба,
лучше и не скажешь.

А чтоб справдилась та правда,
дорогу покажешь.

Собирайся!» Поскакали
прямиком в Ольшану.

Лишь один в корчме под лавкой
конфедерат пьяный.

Встать не может, распростерся,
как мертвое тело:
«Му zyjemy, му zyjemy,
Polska ne zginela».

Ктитор

«В лесу, в лесочке
не веет ветер;
высоко месяц,
и звезды светят.
Выйди, голубка,
я поджидаю.
Хоть на часок ты
приди, родная!
Хоть погорюем
да поворкуем.
Сегодня ночью
уйду далеко.
Прощусь, расстанусь
с тобой до срока.
Выгляни, пташка,
моя отрада.
Проститься надо...

Ох, тяжко, тяжко».

Так поет себе Ярема
в роще той затишной,
поджидает, но Оксаны
не видно, не слышно.

Светят звезды. Среди неба —
месяц белолицый.

Соловей поет, и верба
никнет над криницей.

Соловей над речкой песню
так и разливает,
словно знает, что дивчину
казак поджидает.

А Ярема ходит-бродит,
все ему не мило.

«Зачем меня мать родная
красой наделила?...

Доля да удача ко мне не идут.

Годы молодые даром пропадут.

Один я на свете, без роду, а доля —
сиротская доля, что былинка в поле,
холодные ветры ее унесут, —
и меня вот люди не хотят приветить.
За что ж отвернулись? Что я сирота?
Одно было сердце, одна на всем свете

душа — моя радость — да, видно, и та
и та отвернулась...»

Заплакал убогий,

заплакал и слезы утер рукавом:

«Бывай же здорова! В далекой дороге
найду либо долю, либо за Днепром
голову сложу я. А ты не заплачешь,
А ты не увидишь, как буду лежать,
как выключет ворон те очи казачьи,
те, что ты любила нежно целовать.

Забудь же про слезы сироты-бедняги,
забудь, что клялася. Найдется другой!

Я тебе не пара, я хожу в сермяге,
ктиторовой дочке нужен не такой.

Люби кого хочешь. Что себя неволить!

Забудь меня, пташка, забудь обо всем.

А коли услышишь, что в далеком поле
голову сложил я, помолись тайком.

Хоть одна ты, мое сердце,
вспомни добрым словом».

И заплакал, подпершился
посошком дубовым.

Плачет тихо, одиноко...

Обернулся, глянул:

осторожно по опушке

крадется Оксана.
Все забыл... Бежит навстречу...
Друг к другу припали.
«Сердце!» Долго одно это
слово повторяли.

«Будет, сердце!» — «Нет, немножко...
Еще, сизокрылый!
Возьми душу! Еще, милый!
Как я истомилась!»
«Звездочка моя, ты с неба,
ясная, слетела!»
Стелет свитку. Улыбнулась,
на ту свитку села.
«Сам садись со мною рядом,
обними же, милый!»
«Где не ты, звездочка, так долго
и кому светила?»
«Я сегодня запоздала:
отец занедужил,
до сих пор за ним смотрела...»
«А я и не нужен?»
«Ну, какой ты, вот, ей-богу!»
И слеза блеснула.
«Я шучу, шучу, голубка».

«Шутки!» Улыбнулась.
И склонилась головкой,
будто бы уснула.
«Слышь, Оксана, пошутил я,
не думал обидеть.
Глянь же, глянь же на меня ты:
не скоро увидишь.
Завтра буду я далеко,
далеко, Оксана...
Завтра ночью нож свяченный
в Чигрине достану.
С тем ножом себе добуду
золото и славу,
привезу тебе наряды,
богатую справу.
Как гетманша, сядешь в кресло,
завидуйте, люди!
Стану тобой любоваться...»
«А может, забудешь?..
Будешь в Киеве с панами
ходить важным паном,
найдешь панну-белоручку,
забудешь Оксану».
«Разве ж есть тебя красивей?..
«Может быть... Не знаю...»

«Не греши! На белом свете
краше нет, родная!

Ни на небе, ни за небом,
ни за синим морем...»

«Перестань же, что ты, милый,
нашел о чем спорить
по-пустому!»

«Нет, родная...»

И снова и снова
целовались, обнимались
они что ни слово,
обнимались крепко-крепко,
то вместе молчали,
то плакали, то клялися
и вновь начинали.

Говорил он ей, как вместе
славно жить им будет,
как он долю и богатство
сам себе добудет.

Как вырежут панов-ляхов
всех на Украине,
как он будет красоваться,
если сам не сгинет.

Говорил... Девчата, слушать
противно, ей-богу!..

Не противно, говорите?
Зато отец строгий
либо мать, когда застанет
вас за книжкой этой,
тут греха не оберешься —
сживут вас со света.
Ну, да что про то и думать,
занятно же, право!
А еще бы рассказать вам,
как казак чернявый
над водою, под ветлою,
прощаясь, тоскует,
а Оксана, как голубка,
воркует, целует.
Вот заплакала, сомлела,
голову склонила:
«Мое сердце! Моя радость!
Соколик мой милый!»
Даже вербы нагибались
послушать те речи.
Нет, довольно с вас, девчата,
а то близко вечер...
Не годится против ночи:
приснится такое...
Пусть их тихо разойдутся,

как сошлись, двое.
Пусть еще раз обнимутся
и разнимут руки,
чтоб никто их слез не видел,
горькой их разлуки.
Пусть... Кто знает, приведется ль
им на этом свете
вновь увидеться. Посмотрим...
Мудрено ответить.

А у ктитора в окошках
свет. Не спит, похоже.
Надо глянуть, но и видеть
не дай того, Боже!...
Не дай того видеть среди мирной хаты,
за людей от срама сердцу не страдать.
Гляньте, посмотрите: то конфедераты,
люди, что собрались волю защищать!
Вот и защищают. Да падет проклятье
на их мать родную, что их зачала,
на день тот, в который собак родила.
Гляньте, что творится у ктитора в хате.
Адские творятся на свете дела!
В печи — огонь. Огнем вся хата
освещена. В углу дрожит,

как пес, шинкарь. Конфедераты
терзают ктитора: «Скажи,
где деньги, если хочешь жить!»
Но тот молчит. Скрутили руки,
об землю грохнули. Молчит,
ни слова ктитор... «Мало муки!
Смолы сюда! Заговорит!
Кропи его! Вот так! Что — стынет?
А ну — горячею золой!
И рта, проклятый, не разинет!
Однако, бестия! Постой!
Давай еще побольше жару!
Да в темя — гвоздик! Что смола!»

Старик не вынес адской кары,
упал бедняга. Отошла
душа его без отпущенья...
«Оксана... дочь!» И все слова...
И палачи в недоуменье:
«Что делать дальше? Ничего,
панове, бросимте его,
запалим церковь!»
«Помогите, кто в Бога верует! Спасите!»
С надворья крик. Стучатся в двери.
В смятенье ляхи: кто такой?

Оксана вдруг: «Убили! Звери!»
И падает. А лях старшой
уже махнул рукою своре —
и та понуро вышла вон,
И сам за ней выходит вскоре
с Оксаной на руках...
Где ж он, Ярема? Что не заступился?
Не оглянулся? Он идет
и песню старую поет,
как Наливайко с ляхом бился.
И ляхи тронулись вперед,
с собою захватив Оксану.

И снова стихнула Ольшана.
Собаки гавкнут, замолчат.
Сияет месяц. Люди спят.
И ктитор сжит. Вовек не встанет;
он не проснется поутру.
Светец мигает через силу...
Погас... И как бы вздрогнул труп...
И темень в хате наступила.

Праздник в Чигирине

Гетманы седые, если бы вы встали,
встали, посмотрели на свой Чигирин,
что вы созидали, где вы управляли,—
заплакали б горько и вы — не узнали
умолкнувшей славы убогих руин.
Базары — где строилось войско шумливо,
где оно, бывало, морем гомонит,
где ясновельможный на коне ретивом...
Взмахнет булавою — море закипит.
Закипело — разлилося
степями, ярами.
Вражьи силы отступают
перед казаками. Ну, да что там!
Все минуло! О том не вздыхайте,
Не вздыхайте, мои друзья,
и не поминайте.
Что с того, что вспомнишь славу?
Вспомнишь и заплачешь.
А каков он нынче, город,
Чигирин казачий?
Из-за леса, из тумана
месяц выплывает,

багровеет, круглолицый,
горит, не сияет.

Не иначе, что не хочет
свет свой тратить даром:
нынче ночью Украину
осветят пожары.

Потемнело — и в Чигрине
мрачно, как в могиле.

(В эту ночь по всей Украине
огни не светили,

в ночь под праздник Маковея,
как ножи святили).

Только совы за заставой
на выгоне выли.

Только тень летучей мыши
прошмыгнет случайно.

Где же люди? Над Тясмином,
в темной роще, тайно
собралися. Старый, малый,
босой и обутый —

все сошлися, ожидают
великой минуты.

Средь темного леса, зеленой дубровы
стреноженны кони отаву жуют.

Оседланы кони, к походу готовы,

куда-то поскачут? Кого повезут?
А что там за люди в затишье долины
лежат, притаившись? Лежат себе, ждут.
Лежат гайдамаки... На зов Украины
орлы прилетели. Они разнесут
врагам своим кару,
за кровь и пожары
жестокую кару они воздадут!
Оружье на возах лежит,
ножи — железною таранью —
императрицын дар восстанью.
Дарила — знала — угодит!
Пускай царицу на том свете
не оскорбят намеки эти!
Среди возов народ стоит,
казачья сила налетела —
со всей округи казаки:
и юноши и старики
на доброе собрались дело.
И ходят меж возов старшины,
в киреях черных, как один,
беседуют спокойно, чинно,
поглядывая на Чигрин.

Старшина первый. Старый Головатый что-
то мудрит слишком.

Старшина второй. Умная голова! Сидит себе на хуторе, будто не знает ничего, а посмотришь — везде Головатый. «Если сам, говорит, не покончу дело — сыну передам!»

Старшина третий. Да и сын — тоже штука! Я вчера встретился с Зализняком; такое рассказывает про него, что ну его! «Кошевым, говорит, будет, да и только; а может, еще и гетманом, ежели...»

Старшина второй. А Гонта на что? А Зализняк? Гонте сама... сама писала: «Если говорит...»

Старшина первый. Тише! Сдается, звонят!

Старшина второй. Да нет, это люди гомонят...

Старшина первый. Догомонятся, что ляхи услышат. Ох, старые головы да разумные! Чудят, чудят, да и сделают из лемеха шило. Где можно с метком, там торбы не надо. Купили хрену — надо съесть; плачьте, глаза, хоть вон повылазьте: видели, что покупали, — деньгам не пропадать! А то думают, думают, ни вслух, ни молча, а ляхи догадаются — вот тебе и пшик! Что там за сходка? Почему они не звонят? Чем народ остановишь, чтоб не шу-

мел? Не десять душ, а, слава богу, вся Смелянщина, коли не вся Украина. Вон, слышите, поют.

Старшина третий. Правда, поет кто-то. Пойду остановлю.

Старшина первый. Не надо. Пусть себе поют, лишь бы не громко.

Второй старшина. Это, должно быть, Валах. Не утерпел-таки, старый дурень: поет — да и только.

Третий старшина. А славно поет. Когда ни послушаешь — все другую. Подкрадемся, братцы, да слушаем. А тем временем зазвонят.

Старшина первый и второй. А что ж? И пойдём!

Старшина третий. Добре, пойдём!

Старшины тихо стали за дубом, а под дубом сидит слепой кобзарь, вокруг него запорожцы и гайдамаки.

Кобзарь поет медленно и негромко:

«Ой, валахи! Как мало
вас на свете осталось!

И вы, молдаваны,
теперь вы не паны.

Господари недаром
служат верно татарам
да турецким султанам.
Вы в цепях, молдаваны!
Ладно! Будет журиться,
время Богу молиться.
Поднимайтесь-ка с нами,
с нами — с казаками.
Помянем, молдаваны,
гетмана Богдана.
Будете панами —
поднимайтесь с ножами,
как мы, со святыми,
при батьке Максиме.
Мы на ночь погуляем.
Ляхов погоняем,
да так погуляем,
что ад содрогнется,
земля затрясется,
небо запыхает.
Добре погуляем!..»

Запорожец. Добре погуляем! Правду старый поет, коли не врет. А что б из него за кобзарь был, кабы, он не валах!

Кобзарь. Да я и не валах,— так только: был

когда-то в Валахии, а люди и зовут Валахом, сам не знаю за что.

Запорожец. Ну да все равно. Затяни еще какую-нибудь. А ну-ка, про батька Максима ахни!

Гайдамак. Да не громко, чтоб не услышали старшины.

Запорожец. А что нам ваши старшины? Услышат — так послушают, коли есть чем слушать, вот и всё. У нас один старшой — батько Максим; а он как услышит, то еще рубль даст. Пой, старче божий, не слушай его.

Гайдамак. Да оно так, дружок; я это и сам знаю, да вот что: не так паны, как подпанки, а еще: дока солнце взойдет, роса глаза выест.

Запорожец. Брехня! Пой, старче божий, какую знаешь, а то и звона не дождемся — за-снем.

Все вместе. Правда, заснем; спой нам что-нибудь.

Кобзарь (поет):

«Летит орел, летит сизый
да под небесами.

Зализняк гуляет батько
степями, лесами.

Ой, летает сизокрылый,
а за ним орлята.
Ой, гуляет славный батько,
а за ним — ребята.
Те ребята — запорожцы,
сыновья Максима.
Обо всем толкует с ними
батько их родимый.
Он запляшет — все запляшут,
земля затрясется.
Запоеет он — все подтянут,
горе засмеется.
Поставцом горилку тянет,
чаркою не любит,
а врага в бою, не глядя,
найдет и загубит.
Вот таков-то у нас батько,
орел сизокрылый,
и воует и танцует
со всей мочи-силы.
Нет ни хутора, ни хаты,
ни стада, ни сада.
Степь да море — на просторе
богатство и слава.
Берегитесь нынче, ляхи,

горе вам, собаки!

Зализняк идет к вам в гости,
а с ним гайдамаки».

Запорожец. Вот ото — да! Отколол, ничего не скажешь: и складно и правда. Хорошо, право, хорошо. Что захочет — то так и режет. Спасибо, спасибо!

Гайдамак. Я что-то не раскусил, что он пел про гайдамаков.

Запорожец. Какой же ты бестолковый, право! Видишь, вот что он пел: чтоб ляхи поганые, бешеные собаки, каялись, потому идет Зализняк Черным шляхом с гайдамаками, чтоб ляхов, видишь, резать...

Гайдамак. И вешать и мучить! Хорошо, ей-богу, хорошо! Ну, так! Право, дал бы рубль, если б не пропил вчера. Жаль! Ну, пускай старая вязнет — больше мяса будет. Сделай одолжение, будь ласков,— завтра отдам. Хвати еще что-нибудь про гайдамаков.

Кобзарь. До денег я не очень жаден. Была б ваша ласка слушать,— дока не охрип, буду петь; а охрипну — чарочку-другую той «ледащицы-живицы», как это говорится, да снова. Слушайте ж, панове-громада!

« Ночевали гайдамаки
в зеленой дуброве,
на лугу ходили кони
в седлах наготове...
Ночевали паны-ляхи
в шинках с шинкарями,
напились, растянулись,
да и...»

Все. Стой-ка. Кажется, звонят. Слышишь?
Еще раз, о!..

«Зазвонили, зазвонили!» —
покатилось эхо.
«Поднимайтесь-ка, а песня —
делу не помеха».
Повалили гайдамаки,
а ж стон по дуброве.
На плечах возы до церкви
понесли воловьи.
А Валах за ними следом
затянул суровой:
«Ночевали гайдамаки
в зеленой дуброве...»
Ковыляет, напевает
потихоньку старый.
«Дай другую, старче божий,

поддай, поддай жару!»
И с возами в пляс пустились.
плясовую грянул:
«Так-то, хлопцы, добре, хлопцы,
а я не отстану.
Ахнем, хлопцы!»
Заходила
земля под ногами.
А Валах на кобзе режет,
додаєт словами:
«Ой, гоп таки-так!
Кличет Ганну казак:
«Иди, Ганна, побалую,
иди, Ганна, поцелую.
Пойдем, Ганна, до попа
Богу помолиться.
Нету жита ни снопа —
бурьян колосится».
Оженился, зажурился,
нужда одолела.
Дети голы, а их батько
поет то и дело:
«И по хате ты-ны-ны,
и по сеням ты-ны-ны,
пеки, жинка, блины,

ТЫ-НЫ-НЫ, ТЫ-НЫ-НЫ!..»

«Добре, добре! Дай еще раз!» —
Кричат гайдамаки.

«Ой, гоп, диво, диво,
наварили ляхи пива,
а мы будем пировать,
панов-ляхов угощать,
панов-ляхов угощая,
с панянками поиграем,
ой, гоп таки-так!

Кличет панну казак:

«Панна, пташка моя,
панна, доля моя!

Не стыдися, дай мне ручку, —
нечего стыдиться!

Пускай людям горе снится, —
будем веселиться!

Запоем, затянем,
друг на дружку глянем.

Панна, пташка моя,
панна, доля моя!»

«Еще! Еще!»

«Кабы если б или так, или сяк,
кабы если б запорожский казак!
Кабы если б молодой, молодой,

хоть по хате походил бы со мной,
страх как мне не хочется
да со старым морочиться! Кабы если б...»

«Цыц! Ошалели! Что за погань!

Поете здесь, да в час такой,
да где! — у Божьего порога!
Все ты затеял, пес слепой!» —
так атаман кричит.

И встали у церкви хлопцы.

Клир поет. Попы с кадилами, с крестами
идут, идут. Затих народ.

Кропя оружие, меж возами
попы торжественно прошли.

Хоругви следом пронесли,
как на святой над куличами.

«Молитесь, братия, молитесь! —
так благочинный возгласил.

Восстанет стража из могил
на помощь. Духом укрепитесь!

Не даст Господь Чигрин распять,
а вы Украину охраняйте,
не дайте матери, не дайте
в руках у палача стенать.

От Конашевича доньне

пожар не гаснет, люди мрут,
томятся в тюрьмах, на чужбине...
А дети в нехристях растут,
казачьи дети. А девочки —
земли украинской краса —
посрамлены, в руках у катов.
И непокрытая коса
сечется с горя. Кари очи
в неволе гаснут: расковать
казак сестру свою не хочет
и не стыдится сам стонать
в ярме у ляха. Горе, горе!
Молитесь, дети! Страшный суд
нам ляхи-палачи несут!
И разольется крови море...
А вспомним гетманов своих:
Богдана вспомним, Острицицу.
Кто знает, где могилы их,
где их священный прах хранится?
Где Наливайка славный прах?
Кто плакал на его могиле?
Кощунственно в глухих степях
враги их пепел распылили.
Они поруганы. Не встанут.
Не встанет праведник Богун,

чтоб зимний запрудить Ингул
телами шляхты.

Нет Богдана,
чтоб Воды Желтые и Рось
окрасить кровью, как бывало.
и Корсунь — город древней славы —
тоскует нынче. Довелось
угаснуть в забытьи на свете.

А Альта плачет: «Где Тарас?
Не слышно... Нет. Не в батька дети!»
Не плачьте, братия: за нас
и души праведных, и сила
архистратига Михаила, —
не за горами кары час.

Молитесь, братия!..»
Молились, молились с верой казаки
по-детски чисто. Не журились
и не гадали, чтоб спустились
над их могилами платки.

Вся и слава — что платочек
на кресте накинута...

А диакон возглашает:
«Враги да погинут!...
Братия, ножи берите!
Благослови, Боже...»

«Освятили! Освятили!»
Аж мороз по коже.
«Освятили, освятили!
Шляхта да погинет!..»
И ножи те заблестели
по всей Украине.

Третьи петухи

И день еще под игом катов
стонал народ. Еще один
земля носила их, проклятых,
и плакал древний Чигирин.
Тот день прошел, день Маковея,
что многих праздников святее,
прошел,— и лях и жидовин
горилкой, кровью упивались,
кляли схизмата, распинали,
кляли, что нечего и взять.
А гайдамаки молча ждали,
покуда ляхи лягут спать.
Легли, поганые, не знали,
что завтра им уже не встать.
Заснули ляхи, а Иуды

еще не спят в ночной тиши,
впотьмах считают барыши,
над золотой склонившись грудок.
И так, на золоте своем,
нечистым задремали сном.

Заснули — навеки, даст Бог, улеглись...
А в ту пору месяц плывет озирать
и небо, и звезды, и землю, и море,
и счастье людское, и горькое горе, —
чтоб господу Богу про все рассказать.
Светит белолицый на всю Украину...
Видит ли он с неба мою сиротину,
видит ли Оксану, мою сироту?
Кто ее терзает, где она страдает,
знает ли Ярема? Или знать не знает, —
мы после увидим, а нынче не ту,
не ту, а другую я песню сыграю.
Горе — не девчата — будет танцевать;
спую про неволю, казацкую долю, —
слушайте, чтоб детям после рассказать.
Чтобы дети знали, внукам рассказали,
как казаки шляхту мукам предавали
за все, что от шляхты пришлось испытать.

Испокон веков Украина
не знала покоя,
по степям ее широким
кровь текла рекою.
Текла, текла — пересохла.
Степи зеленеют.
Спят казаки, спят вояки,—
курганы синеют.
Да кому о дедах вспомнить,
поплакать над ними?
Не горька их доля внукам,
не дорого имя.
Только ветер тихо-тихо
повеет порою,
только росы, будто слезы,
окропят, омоют.
Солнце ласковое встанет,
осушит, пригреет.
Что же внуки? Все равно им —
панам жито сеют.
Много их, а кто укажет,
где Гонты могила?
Где легла его святая
праведная сила?
Зализняк, душа родная,

где лежит зарытый?
Тяжело! Палач на троне,
а они забыты.

Испокон веков Украина
не знала покоя,
по степям ее широким
кровь текла рекою.
День и ночь — пальба, сраженья,
земля стонет, гнется.
Жутко, больно, а как вспомнишь —
сердце усмехнется...
Месяц яснокрылый, брат мой одинокий,
укройся за тучей, за горой высокой.
Не гляди на землю, хоть и видел Рось,
И Альту, и Сену, хоть и пролилось
там не мало крови людской понапрасну —
то ли нынче будет! Закатися, ясный,
спрячься, друг любимый, чтоб не довелось
на старости плакать...

Грустно, грустно среди неба
светит месяц смутный.
Вдоль Днепра казак: шагает —
с вечеринки будто.

Он шагает невеселый,
еле служат ноги.
Не дивчина ль осмеяла
за жупан убогий?
Нет, дивчина его любит,
хоть жупан залатан.
Добрый хлопец, а не сгинет —
будет и богатый.
Что ж идет он невеселый,
идет, чуть не плачет?
Что поникнул молодою
головой казачьей?
Чует сердце, да не скажет,
что за горе встретит...
А вокруг — как будто люди
вымерли на свете.
Петухов еще не слышно,
собаки замолкли,
заунывно в отдаленье
завывают волки.
Хоть бы что! Идет Ярема,
спешит не в Ольшану,
не к своей зазнобе милой,—
на ляхов поганых,
на Черкасы. Скоро третьих

петухов слышит...

Ну, а там... глядит Ярема,
волны Днепр колышет...

«Ой, Днепр мой могучий, стремяся к низо-
ВЬЮ,

от крови казацкой бывал ты багрян,
и море ты красил казацкою кровью,
да сам еще не был от крови той пьян.
А нынче упьешься. Кромешное пламя
над всей Украиной в ночи заревет,
и хлынет ручьями, волнами, реками
кровь шляхты поганой; казак оживет.

Гетманы воскреснут в жупанах старин-
НЫХ,

вольной песней станут грозные слов»:

«Врагов мы прогнали!»

И над Украиной,

о, Боже великий, блеснет булава!»

Так думал Ярема в одежде убогой,
с ножом освященным идя на врагов.

А Днепр — он подслушал — могучий, ши-
рокий,

поднял волны-горы, и у берегов

грозно волны завывают,
лозы нагибают.

Гром грохочет, а молнии
тучи рассекают.

Напрямик идет Ярема,
головы не прячет.

Одна дума улыбнется,
Другая заплачет...

«Там Оксана, там весело
и в худой одеже,

А тут, а тут — сам не знаю —
пропаду, быть может!»

Вдруг — недальний из-за леса
Петух: кукареку!!!

«А! Черкасы! Боже правый,
не убавь мне веку!»

Кровавый пир

Зазвонили по Украине
со всех колоколен,
загуляли гайдамаки
да на вольной воле.
«Смерть шляхетству! Погуляем,
тучи разогреем!»
Запылала Смелянщина
и Корсунь за нею.
А Медведевка давно уж
небо подпекает.
Горит Смела; Смелянщина
кровью подплывает.
Полыхают разом Канев,
Чигирин, Черкассы.
Черный шлях окутан дымом,
и кровь полилася
до Волыни. На Полесье
Гонта пир справляет.
Зализняк же в Смелянщине
саблю закаляет
да в Черкассах, где Ярема
поспевает рядом.

«Добре, хлопцы, режьте ляхов,
никому пощады!»

Зализняк своих казаков
в дыму окликает.

Ад क्रомешный, а по аду
казаки гуляют.

А Ярема губит ляхов
с Максимом бок о бок.

Так и косит! «Добре, хлопец,
тряси их хвороба!

Валяй, хлопец! В раю будешь,
а то есаулом.

Нуте, детки!» Переполнен
город криком, гулом.

В лавках, в каменных палатах
души не осталось.

«Подсчитаю! Добро, хлопцы,
отдохните малость».

Город трупами завален,
улицы, базары,
черной кровью подплывают.

«Мало ляхам кары!...»

Недорезанных кончали:
не встанут, собаки!

Собралися, запрудили

площадь гайдамаки.
Зализняк зовет Ярему,
тот идет, смущаясь.
Батько снова: «Поди, хлопец,
не бойсь, не кусаюсь».
«Не боюсь». Снимает шапку
перед атаманом.
«Кто ты будешь и откуда?»
«Я-то? Из Ольшаны».
«Это где конфедераты
ктитора убили?»
«Где? Какого?..»
«Там, в Ольшане.
И дочь захватили,
дочь, дивчину, может, знаешь?»
«Дочку?! Из Ольшаны?»
«Да, у ктитора. Не помнишь?»
«Оксана! Оксана!» —
только вымолвил Ярема,
как сноп повалился.
«Эге!.. Вон что! Жалко хлопца,
славно хлопец бился!»
Отдышался. «Батько, брат мой!
Что я не сторукий?
Дайте нож мне, дайте силу,

муки ляхам, муки!

Да такой, чтоб под землю
пекло занемело!»

«Добро, сынок. Ножей хватит
на святое дело.

Гайда с нами до Лысянки,
там ножи наточим».

«Иду, батько, иду, милый,
веди куда хочешь.

Хоть за море, на край света
пойду с атаманом.

Палача, злодея-ляха,
под землей достану
с того света... Только, батько,
найду ли Оксану?..»

«Там увидим... Как зовут-то?»

«Яремою звали».

«Так. А прозвище какое?»

«Прозвища не дали».

«Что, безродный? Ну, да ладно.

Запиши, Микола,
хлопца в список. Пускай будет...

Пускай будет... Голый.

Пиши Голым...»

«Не годится».

«Ну, пиши... Бедою».

«Тоже худо».

«Тьфу ты, черт вас!

Пиши Галайдою»

Записали. «Ну, Галайда,

с нами в путь-дорогу.

Найдешь долю, а быть может...

Нуте, хлопцы, трогай!»

Конь нашелся для Яремы —

дали из обоза.

Рад бедняга; улыбнулся

да и снова в слезы.

Выехали за ворота —

в зареве Черкаassy.

«В сборе, детки?»

«В сборе, батько!»

«Гайда!»

Понеслася

правым берегом днепровским

казачья ватага.

И кобзарь за нею следом, —

где трюшком; где шагом, —

поспевает на лошадке,

песню запеваает:

«Гайдамаки, гайдамаки! Зализняк гуляет!...»

Едут, едут... а Черкассы
позади пылают.

Ну, и ладно! И не смотрят,
шляхту проклинаят.

Кому шутки, кому песни —
кобзарь наготове.

Зализняк же едет молча,
нахмутивши брови.

Курит люльку, смотрит зорко
вдаль перед собою.

А за ним Ярема едет,
поники головою.

Темный лес, днепровский берег,
горы, звезды, небо,

счастье, доля и недоля,
люди, быль и небыль —

все пропало, отступило,
не видит, не знает.

Как убитый. Только тяжело
изредка вздыхает.

Но не плачет, нет, не плачет,
хотя слезы душат,—

злоба лютою змеею

охватила душу...

«Ой вы, слезы, мои слезы,
смойте мое горе!

Тяжко, больно! Только знаю —
ни синего моря,
ни Днепра не хватит нынче,
чтобы горю кануть.

Душу, что ли, загубить мне?...

Оксана! Оксана!..

Где ты, где ты, моя радость,
что жизни дороже?

Хоть приснися, покажися...

Где ты? Гибнешь, может?

Может, горькую судьбину
клянeshь ты, Оксана?

Может, мученица, стонeshь
в застенке у пана,

да Ярему вспоминаeshь,
родную Ольшану...

Сердце мое! Лети, сердце!

Обними Оксану!

Обоймемся, позабудем
все на белом свете.

Пускай ляхи жгут, пытаются —
не услышим!... Ветер,

ветер веет от Лимана,
гнется тополь в поле,
и дивчина туда гнется,
куда гнет недоля.
Потоскует, погорюет,
забудет... и, может...
Станет панной, гордой, чванной...
А лях... Боже, Боже!..
Карай пеклом мою душу,
сожги адским жаром,
карай, Боже, мукой вечной,
но не тою карой!
Будь хоть каменное сердце —
не вынесет раны.
Моя доля, моя радость,
Оксана! Оксана!
Куда скрылась-удалилась,
приди покажися!»
Вдруг — и слезы полилися, —
откуда взялися!
Не велит казакам батько
нынче ехать дало.
«К лесу, хлопцы! Вон светает,
и кони устали.
Покормить бы!» Своротили.

И в лесу пропали.

Гупаливщина

Встало солнце. Украина
дымилась, пылала.
Где в живых осталась шляхта, —
запершись дрожала.
А по виселицам в селах
ляхи в ряд висели
чином старшие. На прочих
веревках жалели.
По улицам, по дорогам —
груды трупов с ночи.
Псы грызут их, а вороны
выклевали очи...
По дворам везде остались
дети да собаки.
Даже бабы, взяв ухваты,
ушли в гайдамаки.
И творилось такое
по родным округам...
Хуже ада... За что ж люди
губили друг друга?..

Поглядеть — такие ж люди,
жить, водить бы дружбу.
не умели, не хотели —
разделиться нужно!
Захотели братской крови, —
потому — у брата
и скотина, и холстина,
и светлая хата.
«Убьем брата, спалим хату!»
И пошла работа.
Ну, убили! А на муки
остались сироты.
Подросли в слезах, в неволе,
развязали руки,
ножи взяли. И зуб за зуб,
и муки за муки!
Сердцу больно, как помыслить:
что людей побито!
Столько крови! Кто ж виновен?
Ксендзы, езуиты...
Проносились гайдамаки
степями, лесами.
А за ними и Ярема
с горем да слезами.
Вот минули Вороновку,

Вербовку; в Ольшану
прискакали. «Не спросить ли
кого про Оксану?

Нет, не надо, пусть не знают,
за что пропадаю».

Кони скачут. Гайдамаки
село покидают.

Наклоняется к мальчонке:

«Ктитора убили?»

«Да нет, дядька, не убили —
на огне спалили
и Оксану, дочку, взяли.

А ты кого ищешь?

Коли ктитора, то даром:
лежит на кладбище...»

Не дослушал и галопом
вороного кинул.

«Лучше б я вчера, не зная,
не ведая, сгинул.

А сегодня я и мертвый
из могилы встану
ляхов мучить. Сердце мое!

Оксана! Оксана! Где ты?..»

Стихнул, зажурился. Сдержал вороного.

Горе тяжкое, немое
охватило снова.

Поравнялся со своими
за хутором старым.

Где корчма была — огнище,
и Лейбы не стало.

Усмехнулся мой Ярема,
грустно усмехнулся.

«Вот где, вот где я недавно
перед Лейбой гнулся!

А сегодня...» И взгрустнулось
о том, что минуло.

А ватага у оврага
с дороги свернула.

Догоняют мальчугана;
на спине котомка,
лапти, рваная сермяга...

Окликнули громко:

«Эй, убогий, погоди-ка!»

«Я не нищий, пане».

«Ну, а кто ж ты?»

«Гайдамака!»

«Ишь ты как, поганец!..»

«Сам-то дальний?»

«Кирилловский»

«А Будища слышал?»

«Знаю, как же!»

«А озеро?»

«Озеро повыше,
вон где озеро. Езжайте
тропинкой вот этой».

«Много ляхов нынче видел?»

«То-то вот что нету!

А вчера их было пропасть!

Венков не святили

из-за них, собак проклятых, —
за то ж их и били!...

И мы с батькой их карали,

а мать все хворает, —

а то б тоже...»

«Добре, хлопец! — Зализняк кивает.

Вот возьми себе на память
об этой дороге
золотой».

«Спасибо, пане!...»

«Ну, казаки, трогай!

Да без гомону, потише!

Галайда, за мною!

Там вон озеро в долине
и лес под горою.

А в лесу добро зарыто, —
как подъедем, скажешь,
чтобы хлопцы окружили,
может, кто на страже
там остался».

Подъезжают,
встали вокруг леса.

Смотрят, смотрят — нету ляхов.
«Да тут их до беса!

Гляньте, хлопцы, на деревья,
сшибайте проклятых!» —
и посыпались, как груши,
вниз конфедераты.

«Поживей сшибайте, хлопцы,
будут знать, как лазить!

Вот так славная потеха —
как бы да не сглазить!»

Отыскали гайдамаки
потайные ямы,
все забрали, что годилось,
и в Лысянку прямо
поскакали...

Пир в Лысянке

Над Лысянкой клубы дыма
к небу повалили:
Зализняк да Гонта люльки
на ночь закурили.
Страшно, страшно закурили,
земля пламенеет.
Вряд ли даже в преисподней
так курить умеют!
Багровеет Тикич кровью
евреев да ляхов.
Горят хаты и палаты, —
заодно — все прахом...
И богачи с голытьбою...
А среди базара
Зализняк гуляет с Гонтой;
«Кара ляхам, кара!»
Чтоб покаялись собаки —
всех подряд карают.

Стоны, слезы. Один молит,
другой проклиняет,
третий кается напрасно

перед мертвым братом.
Старикам пощады нету
и малым ребятам.
Не милуют гайдамаки,
не щадят, зверея,
ни красу, ни возраст юный
шляхтянок, евреек.
Ни убогих, ни здоровых,
ни калек горбатых
не осталось,— не спаслися
от грозной расплаты.
Ни души — легли все, пали,
свершилася кара.
Трупы стыннут, багровеет
небо от пожара.
Разгорелся, распылался
под самые тучи.
А Галайда всюду слышен:
«Мучить ляхов, мучить!»
Как безумный, мертвых режет,
рубит как попало.
«Дайте ляха, дайте пана,
мало крови, мало!
Дайте ляха, дайте крови
тех собак поганых!

Море крови!.. Мало моря!
Оксана! Оксана!
Где ты?» — крикнет, пропадает
в полымя пожара.
А тем часом гайдамаки
столы средь базара
расплавили. Отовсюду
несут, несут блюда.
Собирают, накрывают,—
тешат свою удаль.
«Пейте, лейте!» Загуляли.
А вокруг что было:
трупы панские, качаясь,
висят на стропилах
Обгорелых. Вдруг стропила
пламенем обнимет —
треск да искры! «Пейте, детки,
с панами такими,
может, встретимся еще раз —
Авось не сплосшаем!»
И черпак единым духом
бацько осушает.
«За собачьи эти труды,
за собачьи души
пью, казаки! Пейте, детки!

Выпьем, Гонта, друже!
Выпьем, выпьем, погуляем
заедино, вместе!
Где Валах наш? Запевай-ка
веселую песню!
Не про дедов — сами шляхту
караем не хуже!
Не про горе, потому что
живем, а не тужим.
Грянь веселую такую,
чтоб земля ломилась!
Про вдовицу-молодицу,
как она журилась!»

Кобзарь (играет и припеваает):
«От села до села
праздник, пир великий.
Я курицу продала,
ношу черевики.
От села до села
танцевать пойду я.
Ни коровы, ни вола, —
в хате ветер дует.
Я отдам, я продам
куму свою хатку.»

На виду, на ходу
поставлю палатку.
Стану я торговать
горилкою горькой
да гулять, танцевать
с молодыми только!
Ох вы, детки мои,
я вас пожалею.
Поглядите, как танцую, —
станет веселее.
Я в батрачки пойду,
деток в школу отдам,
своим новым черевичкам
таки дам, таки дам!»

«Славно! Славно! Плясовую!
Поддай жару в ноги!»
Заиграл кобзарь, пустились
посреди дороги.
Ходит площадь. «Ну-ка, Гонта
тряхнем стариною,
пока живы — погуляем,
притопнем ногою!»

«Не смотрите вы, девчата,

что я обтрепался...

Родной батюшко делал гладко, —
я в него удался».

«Добре, братец! Ей-же-Богу!»

«Дорогу Максиму!»

«Погодите ж!»

«Даром, что ли, так поется:
люблю дочку, чью придется, —
хоть попову, хоть дьячкову,
хоть и просто мужикову».

Все танцуют, а Галайда
на гулянье плачет.

У стола сидит печальный,
слез своих не прячет.

А с чего бы ему плакать?

Сидит себе паном:

есть и деньги, есть и слава,
да нету Оксаны;

Не с кем долей поделиться,
не с кем веселиться,
сиротою довелось
на свете томиться.

И не знает, не гадает,
что его Оксана

за рекой, в плену у ляхов,
у панов тех самых,
что отца ее убили.
Над нею глумились,
хвост поджали — убежали,
в страхе притаились.
Только слушаете, сидя
за стеной надежной,
стоны братьев! А Оксана
в окошко тревожно
смотрит, смотрит на пожары.
«Где-то ты, мой сокол?»
А того она не знает,
Что он недалеко,
здесь, в Лысянке, да не в прежней
старой свитке рваной.
В жупане сидит, горюет:
«где моя Оксана?
Где она, моя голубка,
томится да плачет?..»
А в потемках вдоль заборов,
в кирее казачьей
идет кто-то...
«Что за люди?» —
казак окликает.

«Я посыльный пана Гонты,
пускай он гуляет,
подожду я».

«Ловок, Лейба,
ловок, жид, однако!»
«Спаси, Боже, — не был жидом.
Видишь — гайдамака.
Вот копейка — знак имею».
«Да напрасно ищешь...»
И свяченный вынимает
из-за голенища.

«Признавайся, пес лукавый,
ты привел в Ольшану
в дом ктитора ляхов пьяных?
Я шутить не стану.
Я батрак твой. Я Ярема.
Узнаешь, поганый?
Говори же, признавайся:
где моя Оксана?»
Замахнулся.
«Спаси, Боже...
За рекой... у пана...»
«Выручай же, а иначе —
протянешь ты ноги».

«Добре, добре... Ах, какой вы,
пан Ярема, строгий!...

Тотчас все исполню. Деньги
и стену ломают.

Скажу ляхам: вместо Паца...»

«Ладно. Понимаю.

Лети духом».

«Добре, пане,
вы себе гуляйте,
да часок-другой... покамест
Гонту забавляйте.

А куда везти Оксану?»

«В Лебедин... к монашкам».

С Гонтой весело танцует.

Жупан нараспашку.

Зализняк же берет кобзу:

«Потанцуй-ка, старый! Я сыграю!»

И вприсядку слепец средь базара
чешет рваными лаптями,
говорит словами:

«В огороде пастернак, пастернак;
чем я тебе не казак, не казак?

Иль я тебя не люблю, не люблю?

Иль я тебе черевичков не куплю?

Куплю, куплю, черноброва,

куплю, куплю пару новых.
Буду часто ходить,
Буду крепко любить».
Ой, гоп-гопака!
Полюбила казака,
некрасивого, рябого
да седого старика.
Иди, доля, за бедою,
а ты, старый, за водою,
а я сбегаю в шинок.
Выпью чарку да другую,
выпью пятую, шестую,
да и хватит мне, ей-ей!
Пляшет баба, а за ней
выбегает воробей,
так и чешет — людей тешит.
Веселей, воробей!
Рябой, старый бабу кличет,
а та ему дулю тычет:
«Оженился, сатана,
нет ни хлеба, ни пшена!
Надо деток воспитать,
обувать, одевать.
А я буду добывать,
а ты, старый, не греси,

а ты зыбку колыши,
да замри — не дыши!»
«Как была я молодою, жила весело я,
По-над ставней новый фартучек повесила
я.

Кто идет — не минет,
то кивнет, то моргнет,
а я шелком вышиваю
и в окошечко киваю.
Надевайте, хлопцы, свитки,
ожидаю у калитки.
Погуляем, хлопцы, вместе,
заиграем, хлопцы, песни».
«Загоняйте квочку в бочку,
а цыпляток в вершу!..
И... Гу!..

Взялся батька за дугу,
а старая — за гужи.
Дочка, повод подвяжи!»
«Хватит, что ли?»
«Еще! Еще!
Сами ноги носят!»
«В миску хлеба кроши
да побольше квасу.
Дед да баба — оба рады,—

тюрька задалася!
Квасу, квасу подливай
да кроши петрушку...
Квасу, квасу подливай,
кроши больше хрену.
А дед бабе...
Ой, лей воду, воду,
поищи-ка броду, броду!..»
«Будет, будет! — крикнул Гонта.—
Хватит! Погуляли!
Поздно, хлопцы. А где Лейба,
Лейбу не видали?
Найти Лейбу и повесить!
Где он, сын собачий?
Гайда, хлопцы! Погасает
каганец казачий!»
А Галайда атаману:
Погуляем, батько!
При пожаре на базаре
и светло и гладко!
Потанцуем! Играй, старый!»
«Нет, конец пирушке!
Огня, хлопцы! Дегтю! Пакли!
Волоките пушки!
Наведите на тот берег.

Думают — шучу я!»
Заревели гайдамаки:
«Добре, батько, чуем!»
Через греблю повалили,
орут, запевают.
А Галайда: «Батько, батько,
стойте, погибаю!
Погодите, не палите, —
там моя Оксана!
Хоть немного погодите,
я ее достану!»
«Ладно, ладно! Максим, братик,
приступаем, друже!
Что возиться! А ты, хлопец,
другую, не хуже облюбуеть...»
Оглянулся:
Где он? Был иль не был?...
Взрыв гремучий. Стены вражьи
взметнулись под небо
вместе с ляхами. Что было —
пеклом запылало.
«Где ж Галайда?» — Максим кличет.
Следа не осталось...

Покамест хлопцы снаряжались,

Ярема с Лейбою пробрались
в подвалы к ляхам, и казак
Оксану вынес, чуть живую
и поскакал напропалую
на Лебедин...

Лебедин

«Сирота я из Олшаны,
сирота, бабуся...
Отца ляхи замучили,
а меня... боюся
даже вспомнить, мое сердце,
увезли с собою.
Не спрашивай, родная,
что было со мною.
Сколько плакала, молилась,
сердце надрывала!
Не хватало слез, голубка,
душа замирала.
Кабы знала, что увижу
друга дорогого, —
молча б вытерпела муки
за одно то слово.

Ты прости, прости, голубка,
может, согрешила,
может, Бог меня карает,
что я полюбила,
полюбила молодого.
И что тут поделать?
Полюбила, как умела,
как сердце велело.
Не за себя, не за батька
молилась в неволе, —
За него молилась Богу,
чтоб дал ему долю.
Карай, Боже, карай, правый,
все скажу, что было:
страшно молвить, чуть я душу
свою не стубила.
И наверно б, на себя я
руки наложила,
да как вспомню сиротину, —
Боже ты мой милый!
Кто ж его на белом свете
приветит, не бросит?
Кто про долю, про недолю,
как я, порасспросит?
Кто обнимет крепко-крепко,

Как я, горевого,
кто подарит сиротине
ласковое слово?
Так я думала, бабуся,
и сердце смеялось:
я сама на свете круглой
сиротой осталась.
Только он один на свете,
один меня любит.
Как узнает, что решилась, —
и себя загубит.
Так я думала, молилась,
ждала, поджидала.
Нет и нету — не приходит,
одна я осталась!»
И заплакала. Черница
склонилась над нею,
Опечалилась. «Бабуся,
скажи ты мне, где я?»
«В Лебедине, моя пташка,
ты лежишь больная».
«В Лебедине? А давно ли?»
«Третий день, родная».
«Третий, третий... Погоди-ка...
Пожар над водою...

Лейба... Вечер... Майдановка...

Зовут Галайдою...»

«Галайдой себя, Яремой

называл, родная,

тот, что спас тебя...»

«Где? Где он?!

Теперь все я знаю!..»

«На неделе обещался

за тобой явиться».

«На неделе! Близко! Близко!

Будет мне томиться!

Вышел, вышел срок, бабуся

несчастной судьбине!

Тот Галайда — мой Ярема!..

По всей Украине

его знают! Я видала,

как села пылали!

Я видала — каты-ляхи

все дрожмя дрожали,

как услышат про Галайду!

Знают они, знают,

кто такой он и откуда,

за что их карает.

Отыскал меня в неволе,

орел сизокрылый!

Прилетай же, мой соколик,
голубочек милый!
Ах, как весело на свете,
как весело стало!
Сколько дней прошло, бабуся?
Еще три осталось?
Ах, как долго!..
«Загребай, мама, жар, жар, —
будет тебе дочки жаль, жаль...»
Ах, как весело на свете!
А тебе, бабуся?»
«На тебя гляжу я, пташка,
гляжу, веселюся».
«Что ж, бабуся, не поешь ты?»
« Бывало, певала...»
Тут к вечерне зазвонили,
Оксана осталась.
А черница, помолившись,
в храм заковыляла.
Через три дня там Исая,
ликуй! возглашали:
утром рано там Оксану
с Яремой венчали.
А под вечер мой Ярема,
хлопец аккуратный,

чтоб не сердить атамана,
поскакал обратно
ляхов резать. И с Максимом
в Умани справляет
пир кровавый. А Оксана
сидит поджидает,
поджидает, не едет ли
с дружками Ярема:
чтоб из кельи взять Оксану
и ехать до дому.
Не тоскуй, молися богу,
поджидай, Оксана.
А покамест — на пожары,
на Умань я гляну.

Гонта в Умани

Похвалялись гайдамаки,
на Умань идучи:
«Из китайки да из шелка
будем драть онучи».

Проходят дни, проходит лето,
а Украина знай горит;
сироты плачут. Старших нету,
пустуют хаты. Шелестит
листва опавшая в дубровах,
гуляют тучи, солнце спит;
и слова не слышать людского,
лишь воют волки у села,
останки панские таская:
кормились ими серых стаи,
пока метель не занесла
объедки волчьи...
Но и вьюга не укрыла
палачей от кары.
Ляхи мерзли, а казаки
грелись на пожарах.
Землю, спавшую под снегом,

весна разбудила,
муравой-травой одела,
цветами покрыла.
В поле жаворонок звонкий,
соловей на вербе,
пробужденную встречают
землю песней первой.
Рай цветущий! Для кого же?
Для людей? А люди?
Ходят мимо — и не смотрят,
посмотрят — осудят.
Кровью надо подкрасить,
Осветит пожаром.
Рай земной — тогда и будет
хорошо, пожалуй...
Чего нужно? Люди, люди,
когда же вам будет
то, что есть на свете, мило?
Чудные вы люди!

Не смирила весна злобы,
не уняла крови.
Страшно видеть, а как вспомнишь, —
так было и с Троей.
Было, будет. Гайдамаки

гуляют, карают.
Где пройдут — земля пылает,
кровью подплывает.
Не родной хоть он, не кровный
сын у Максима —
поискать такого надо
хорошего сына.
Батько режет, а Ярема —
не режет, лютует,
со свяченым на пожарах
днюет и ночует.
Не милует, не минует —
карает сурово,
за ктитора платит ляхам,
за отца святого,
за Оксану... холодеет
вспомнив об Оксане...
А Максим: «Гуляй, Ярема!
Пока доля встанет,
погуляем!»
Погуляли казаки до срока,
от Киева до Умани
легли ляхи впокот.

Словно туча, гайдамаки

Умань обступили,
до рассвета, до восхода
Умань подпалили.
Подпалили, закричали:
«Карай ляхов снова!»
Покатились, отступая,
бойцы паgodowi.
Побежали старцы, дети,
хворые, калеки.
«Гвалт! Ратуйте!» Полилися
кровавые реки.
Море крови. Атаманы,
стоя средь базара,
кричат разом: «Добре, хлопцы!
Кара ляхам, кара!»
Но вот ведут гайдамаки
с езуитом рядом
двух подростков. «Гонта! Гонта!
Твои, Гонта, чада.

Раз католиков ты режешь,
то зарежь и этих.
Что же смотришь? Твои, Гонта,
католики-дети.
Подрастут, тебя зарежут —

и не пожалеют...»

«Пса убейте! А щенят я —
рукою своею.

Признавайтесь перед всеми,
что веру продали!»

«Признаемся... Мать учила...
Мать... А мы не знали!..»

«Замолчите! Боже правый!..»
Собрались казаки.

«Мои дети — вражьей веры...
Чтобы видел всякий,
чтоб меня не осудили
братья гайдамаки, —
не напрасно присягал я
резать ляхов-катов.

Сыны мои! Мои дети!

Малые ребята!

Что ж не режете вы ляхов?»

«Будем резать, будем!..»

«Нет, не будете, не верю;

проклятою грудью

вы кормились. Католичка

вас на свет родила.

Лучше б ночью вас приспала,

в реке б утопила!

Греха б меньше. Умерли бы,
сыны, не врагами,
А сегодня, сыны мои,
отцу горе с вами!
Поцелуйте ж меня, дети,
не я убиваю,
а присяга». И свяченный
на них подымает!
Повалились, захлебнулись.
Кровь, слова глотали:
«Тату... Тату... Мы — не ляхи!
Мы...» И замолчали.
«Закопать бы?..» — «Нет, не нужно —
католики были.
Сыны мои! Мои дети,
что вы не убили
мать родную, католичку,
что вас породила,
ту, проклятую, что грудью
своей вас кормила!
Идем, друже!»
Взял Максима,
побрели базаром.
Снова вместе закричали:
«Кара ляхам, кара!»

И карали: страшно-страшно

Умань запылала.

Ни в палатах, ни в костеле

ляхов не осталось,

все легли.

Такое видеть

прежде не случалось.

Пламя в небо полыхает,

Умань освещает.

Католическую школу

Гонта разрушает.

«Ты моих детей учила

на позор, измену!

Ты учила неразумных, —

разносите стены!

Бейте! Жгите!»

Гайдамаки стены развалили.

Головами об каменья

езуитов били,

а школяров — тех в колодцах

живьем утопили.

До ночи глубокой палили и били;

души не осталось, кого бы казнить.

«Где вы, — кричит Гонта, —

людоеды, скрылись?»

Детей моих съели, постыло мне жить!
Тяжело мне плакать, не с кем говорить!
Сынов моих милых навеки не стало;
где вы, мои дети? Крови, крови мало!
Шляхетской мне крови хочется испить!
Хочу, хочу видеть, как она темнеет,
как она густеет... Что ветер не веет,
ляхов не навеет! Постыло мне жить!
Тяжело мне плакать! Звезды в небе ясном!
Сокройтесь за тучу — не нужен мне свет!
Я детей зарезал! Горький я, злосчастный,
Куда притулиться? Нигде места нет!»
Так метался Гонта. А среди базара
столы гайдамаки накрывают в ряд.
Мед несут, горилку, с яствами спешат.
Над лужами крови, в зареве пожаров
пир идет последний.
«Гуляйте, сыны! Пейте — пока пьется!
Бейте — пока бьется! —
Максим возглашает. — А ну-ка, кобзарь,
ахни плясовую — пусть земля трясется
от гульбы казачьей, — такую ударь!»
И кобзарь ударил:
«А мой батько был шинкарь,
чеботарь;

а мать была пряха
да сваха.
Братья-соколы росли,
привели
и корову из дубровы
и мониста принесли.
А я себе — Христа
в монисте;
на паневе листься
да листься,
черевики да подковы.
Пойду утром я к корове,
и корову напою,
подою,
да с хлопцами постою,
постою».

«Ой, гоп среди круга!
Не журишь, моя старуха,
закрывают, дети, дверь,
стели, старая, постель!»

Все гуляют. Где же Гонта?
Что он не гуляет?
Что не пьет он с казаками?
Что не подпевает?

Нету Гонты. Не до песен
ему — не иначе...

А кто поздно по Умани
в кирее казачьей
ходит-бродит одиноко,
как тень на кладбище,
груды мертвых разрывает,
все кого-то ищет?

Отыскал два детских тела
и пустым базаром,
пробираясь через трупы,
в зареве пожаров,
их уносит. Это Гонта,
горем удрученный,
сыновей несет, укрывши
киреею черной,
чтоб предать земле казачье
тело по порядку.

Переулками проходит
темными украдкой.
Пусть никто того не видит
и никто не знает,
как сынов хоронит Гонта
и как он рыдает.

Вынес в поле, от дороги
в сторону шагает.
и ножом копает яму.
А Умань пылает,
Озаряет степь, могилу,
детям в лица светит...
Будто спят в одежде мирно,
набегавшись, дети.
Что же Гонту в дрожь кидает,
будто клад скрывает
Гонта ночью? По Умани
его окликают.
Как не слышит — роет Гонта
ножом, что лопатой.
Сыновьям в степи готовит
просторную хату.
Приготовил. Кладет рядом
сыновей в ту хату.
Слышит Гонта, снова слышит:
«Мы не ляхи, тату!»
Кумачовый из кармана
платок вынимает.
Крестит их, целует в очи,
платком покрывает.

Покрывает по закону
головой казачьи.

Приоткрыл, взглянул еще раз.

Горько-горько плачет...

«Сыны мои! Поглядите
на мать-Украину.

За нее и вы погибли,
и я тоже сгину.

А кто меня похоронит?

В чужедальнем поле
кто заплачет надо мною?

Доля моя, доля!

Несчастливая, лихая,
горькая судьбина,

для чего детей послала,
меня не убила?

Лучше б меня проводили,
как я провожаю».

Осенил крестом последним,
землей засыпает:

«Почивайте, мои дети,
в могиле унылой.

Для сынов другой постели
мать не постелила.

Без цветов в земле холодной

почивайте, дети.
За меня молитесь Бога:
пусть на этом свете
покарает страшной карой —
иного не чаю.

Только вы меня простите,
я вам все прощаю».
Закопал, сровнял с землею,
чтоб не видно было,
чтоб никто не знал на свете
сыновей могилы.

«Почивайте. Поджидайте:
скоро постучуся.
Не дал вам дожить я веку —
сам не заживуся.
И меня убьют. Скорей бы!
Да кто закопает?
Гайдамаки! Напоследок
с ними погуляю!»

И пошел понуро Гонта,
идет, спотыкнется,
глянет Гонта на пожары,
глянет, усмехнется.
Страшно, страшно усмехался,

на степь озирался...
Вытер слезы... Будто канул —
в дыму затерялся...

Эпилог

Давно это было, как я, босоногий,
в одежде убогой, ребенком блуждал
по родной Украине, по тем по дорогам,
где Гонта когда-то с Максимом гулял.
Давно это было, как теми путями,
где шли гайдамаки, и я со слезами
бродил сиротою, годами был мал,
добру поучиться людей я искал.
Припомнил — и жалко, что горе минуло,
а с горем и юность. Когда б ты вернулась,
нынешнюю б отдал за тебя судьбу.
Вспоминаю детство, хату, степь без края,
вспоминаю батька, деда вспоминаю.
Дед еще гуляет, а батько в гробу.
Как в праздник, Минеи закрывши, бывало
и выпив с соседом по чарке по малой,
попросит он деда, чтоб тот рассказал
про то, как Украина пожаром пылала,

про Гонту, Максима, про все, что застал.
Столетние очи, как звезды, сияли,
слова находились, текли в тишине:
как Смела пылала, как ляхов карали...
И слезы соседи порой утирали,
мальчонкою плакать случалось и мне
о ктиторе бедном. В ту пору, однако,
никто и не видел, как маленький плакал.
Спасибо, дедуся, что ты приберег
в памяти столетней славу гайдамаков —
а я ее внукам передал, как мог.

Не судите меня, люди,
кому не по нраву,
что писал я не по книгам
про казачью славу.
Дед рассказывал когда-то
я за дедом следом.
Не знал старый и не ведал,
что его беседу
люди книжные услышат.
Ученые люди.
Прости, дедусь! Ну, да пусть их
как хотят, так судят.
Я к своим вернусь покамест,

дове́ду — не кину,
да хотя́ б во сне уви́жу
свою́ Украину,
где гуля́ли гайдамаки
с святы́ми ножами;
те доро́ги, где ходил я
босы́ми нога́ми.

Погуля́ли гайдамаки,
славно погуля́ли:
чу́ть не це́лый год шляхетско́й
кро́вью заливали
Украину. Да и стихли,
но́жи притупили.
Нету Гонты, и креста́ нет
на его́ моги́ле.
Поразвея́л буйный ве́тер
сте́пью прах казачи́й.
Кто о нем моли́ться ста́нет,
кто о нем попла́чет?
Только́ брат, хо́ть не родно́й он,
не кро́вный, да лу́чший,
услы́хал, како́ю му́кой
Гонта́ был замуче́н, —
В пе́рвый раз, бы́ть може́т, сроду́

никто б не подумал!
Зализняк заплакал горько
и от горя умер.
Доконала вестъ лихая
в чужедальном поле.
В чужом поле схоронили —
такая уж доля!
Грустно, грустно гайдамаки
батька схоронили.
Холм насыпали высокий,
навек простились.
Поплакали — разошлись,
кто откуда взялся...

Лишь Ярема, опершись
на посох, остался
У могилы. «Спи, мой батько,
среди чужого поля!
В родном поле нету места,
нету нашей воли.
Почивай, казак, далеко
от родного края».
И пошел Ярема степью,
слезы утирая.
Все оглядывался хлопец,

пока видно было.
А потом — одна осталась
среди степи могила.

Посеяли гайдамаки
на Украине жито.
Только жито вражьим коням
легло под копыта...
Кривда выросла, а правда
не выросла — нету.
Разошлись гайдамаки
кто куда по свету.
Под мостами на дорогах
засели иные,
А про всех такая слава
живет и доньше.
Той порой и Сечь былую
дотла разорили.
На Кубани, на Дунае
казаки укрылись.
А днепровские пороги
в степи завывают:
«Схоронили сынов наших
и нас разрывают».
Ревут себе, вспоминают

про то, что минуло.
И навеки Украина,
навеки уснула.
С той поры в степях широких
жито зеленеет,
ни пальбы, ни криков бранных,
только ветер веет.
Низко вербы нагибает,
ковыль в чистом поле.
Все затихло, замолчало, —
на то божья воля.
Только деды-гайдамаки
под вечер проходят
над Днепром-рекой и песню
давнюю заводят:
«У нашего Галайды — богатая хата!
Гей, море! Славно, море!
Славно будет, Галайда!»

Предисловие

После слова — предисловие. Можно бы и без него. Так вот, видите ли: все, что я видел напечатанного,— только видел, а прочитал очень немного,— все имеет предисловие, а у меня нет. Если бы я не печатал своих «Гайдамаков», то было бы не нужно и предисловие. А если уж выпускаю в свет, то надо с чем-нибудь, чтоб не смеялись над оборванцами, чтоб не сказали: «Вот какой! Разве деды да отцы глупее были, что не выпускали в свет даже букваря без предисловия!» Да, ей-богу, да, извините, надобно предисловие. Только как же его скомпоновать? Чтобы, знаете, не было ни неправды, ни правды, а так, как все предисловия komponуются. Хоть убей, не умею: надо бы хвалить,— да стыдно, а хулить не хочется.

Начнем же уже начало книги сице: весело посмотреть на слепого кобзаря, когда он сидит с хлопцем, слепой, под тыном, и весело послушать его, когда он запоет думу про то, что давно происходило, как боролись ляхи с

казаками, весело, а... все-таки скажешь: «Слава богу, что миновало»,— а особенно когда вспомнишь, что мы одной матери дети, что все мы славяне. Сердце болит, а рассказывать надо: пусть видят сыновья и внуки, что отцы их ошибались, пусть братаются вновь со своими врагами. Пусть, житом, пшеницею, как золотом, покрыта, не размежевана останется навеки от моря и до моря славянская земля.

О том, что происходило на Украине в 1768 году, рассказываю так, как слышал от старых людей, напечатанного и критикованного ничего не читал, ведь, кажется, и нет ничего. Галайда наполовину выдуман, а смерть ольшанского ктитора правдива, — ведь есть еще люди, которые его знали. Гонта и Зализняк — атаманы этого кровавого дела, может, выведены у меня не такими, какими они были, — за это не ручаюсь. Дед мой, доброго ему здоровья, когда начинает рассказывать что-нибудь такое, что не сам видел, а слышал, то сперва скажет: «Если старые люди врут, то и я с ними».

Песня караульного у тюрьмы

Старый гордый воевода
ровно на четыре года
ушел на войну.
И дубовыми дверями
и тяжелыми замками
запер он жену.
Старый, стало быт, ревнивый,
бьется долго и ретиво.
Кончилась война,
и прошли четыре года.
Возвратился воевода.
А жена? Она
погрустила — и решила:
окна в двери превратила.
И проходит год, —
пеленает сына Яна
да про старого, про пана
песенку поет:
«Ой, баю, баю, сын мой,
Ян мой милый?
Когда б воеводу татары убили,

татары убили или волки съели!
Ой, баю, баю, на мягкой постели».

Гамалия

«Ой, все нет и нет ни волны, ни ветра
от матери-Украины;
там идут ли речи про поход на турок —
не слышно нам на чужбине.
Ой, подуй, подуй, ветер, через море
да с казацкого поля,
высуши нам слезы, утоли печали,
облегчи неволю.
Ой, взыграй, взыграй синевою, море,
колоти б борт волнами...
Лишь мелькают шлыки — то плывут каза-
ки
к султану за нами.
Ой, Боже наш, Боже, хоть и не за нами —
неси ты их с Украины:
услышим про славу, казацкую славу,
услышим и свет покинем».

Вот этак в Скутари казаки стонали,
стонали, бедняги, а слезы лились,
казацкие слезы тоску разжигали...

Босфор задрожал — потому не привык
к казацкому плачу: вскипел величавый
и серую шкуру подернул, как бык,
и дрожь пробежала далеко, далеко,
и рев его к синему морю дошел,
и море отгрянуло голос Босфора,
в Лиман покатило и дальше в просторы,
и в Днепр этот голос волной донесло.
Загрохотал старик, вскипая,
аж ус от пены побелел:
«Ты спишь? Ты слышишь? Сечь родная!»
И Луг Великий загудел
за Хортицею: «Слышу! Слышу!»
И Днепр покрыли челноки,
и так запели казаки:

«У турчанки — высок терем,
богата светлица.
Гей, гей! Море, бей!
Выше скал волны взвей! —
едем веселиться!
У турчанки-басурманки
дукаты в кармане.
Не дукаты считать,
едем вас выручать,

братья христиане!
У турчанки — янычары
со своим пашою...
Гей, ги! Эй, враги!
Свою жизнь береги —
мы смелы душою!»

Плывут себе, поют они,
а ветер крепчает...
Впереди их Гамалия
дубом управляет.
«Гамалия, водяные
взыграли просторы!»
«Ничего!» И лодки скрылись.
Одни волны-горы.

Спит, дремлет в гареме в раю Византия,
и дремлет Скутари. Босфор же не спит,
он, точно безумный, гнет волны крутые,
он сон их встревожить желает, кипит.
«Не тебе, Босфору, вступать со мной в спор!» —

Шумит ему море.— Я твою красу
песками закрою, коль дойдет до спору.
Разве ты не видишь, каких я несущу

посланцев к султану?..» Так море сказало.
(Любило отважных чубатых славян).
Босфор усмирился. Турчанка дремала.
Ленивый, в гареме дремал и султан.
И только в Скутари очей не смыкают
казаки-бедняги. Чего они ждут?
По-своему Богу мольбы посылают,
а волны на берег бегут и ревут.

«О, милый Боже Украины!
Не дай погибнуть на чужбине
в неволе вольным казакам!
И тут позор, позор и там —
встать из чужих гробов с повинной,
на суд твой праведный прийти,
в железах руки принести,
в цепях-оковах перед всеми
предстать казакам...»

«Жги и бей,
режь нечестивца-басурмана!» —
крик за стеною. Голос чей?
Гамалия, глянь, какие
янычары злые!
«Режьте! Бейте!» — над Скутари

голос Гамалии.

Ревет Скутари, воеет яро,
все яростнее пушек рев;
но страха нет у казаков,
и покатались янычары.

Гамалия по Скутари
в пламени гуляет,
сам темницу разбивает,
сам цепи сбивает.

«Птицы серые, слетайтесь
в родимую стаю!»

Встрепенулись соколята,
распрямили плечи,
давным-давно не слышали
христианской речи.

Испугалась ночь глухая,
тот пир наблюдая.

Не пугайся, полюбуйся,
наша мать родная!

Темно всюду, точно в будни,
а праздник не малый:
что ж, не воры у Босфора
едят молча сало
без шашлыка! Осветим пир!

До облака из гари —
с кораблями, с парусами
пылает Скутари,
Византия пробудилась,
глазищами блещет,
плывет своим на подмогу —
зубами скрежещет.

Ревет, ярится Византия,
руками берег достает;
достала, гикнула, встает —
и — на ножи валится злые.
Скутари, словно ад, пылает;
через базары кровь течет,
Босфор широкий доливает.
Как птиц разбуженная стая,
в дыму казачество летает:
никто от хлопцев не уйдет,
их даже пламя же печет!
Ломают стены. Золотыми
до верху шапки их полны,
ссыпают золото в челны...
Горит Скутари. В сизом дыме
казаки сходятся. Сошлись,
от жара трубки закурили,

на челноки — и понеслись,
меж волн багровых заскользили.
Плывут себе как из дому,
будто бы гуляют.
И — конечно — запорожцы,
плывя, распевают:

«Атаман Гамалия
стал недаром зваться:
собрал он нас и поехал
в море прогуляться;
в море прогуляться,
славы добиваться,
за свободу наших братьев
с турками сражаться.
Ой, добрался Гамалия
да самой Скутари,
сидят братья запорожцы,
ожидают кары.
Ой, как крикнул Гамалия:
«Братья! Будем здоровы!
Будем здоровы, хлебнем славы,
разметим оравы,
рытым бархатом покроем
курени дырявы!»

Вылетало Запорожье
жать жито на поле,
жито жали, в копны клали,
дружно запевали:
«Слава тебе, Гамалия,
на весь мир великий,
на весь мир великий,
по всей Украине,
что не дал ты запорожцам
пропасть на чужбине!»

Плывут они, поют, плывет
в челне последнем Гамалия,
своих орлят он стережет;
догнать не смеет Византия
казачьи лодки удалые;
она боится, чтоб Монах
не подпалил Галату снова,
не вызвал чтоб Иван Подкова
на поединок на волнах.
Встает волна за волною,
солнце на волне горит;
перед ними их родное
море плещет и шумит.
Гамалия, вот родные

перед нами просторы...
И не видно лодок, только
волн живые горы.

Разрытая могила

Край мой тихий, мать Украина,
чем ты искупаешь
грех великий, за кого ты
в муках погибаешь?
Или ты молитвы ранней
Богу не творила?
Иль детей своих ты честно
жить не научила?
«Я молилась, я трудилась,
я глаз не смыкала,
и детей своих я в добрых
нравах наставляла.
Как цветочки в чистом поле,
вырастали дети,
знала власть я, знала волю
на широком свете.
О, Богдан мой, сын мой милый,
горе мне с тобою,
что ты сделал, неразумный,
с матерью родною?
Над твоею колыбелью

песни злой неволи
пела я и со слезами
ожидала воли.

О, Богдан, когда б я знала,
что мне жизнь сулила,
я тебя бы в колыбели
насмерть задушила.

Овладели чужеземцы
моими степями,
дети мои на чужбине
бродят батраками.

Днепр мой, брат мой, высыхает
среди степей унылых,
а москаль по степи бродит,
роется в могилах.

Не свое он роет, ищет,
могилы тревожит;
но растет уж перевертень...

Вырастет, поможет
он хозяйничать в отчизне
чужаку... Спешите
и рубаху вы с матери
худую снимите!

Звери, звери, мать родную
терзать помогите!»

Вся раскопана, разрыта
старая могила...

Что нашли в ней? Что отцами
закопано было?

Эх, когда бы отыскать нам...

Отыскать нам клады, что земля сокрыла,
не плакали б дети, мать бы не тужила!..

(Чигирин)

Чигирине, Чигирине,
все на свете минет!
И святая твоя слава,
как пылинка, сгинет.
Мчит слава с буйным ветром,
в тучах пропадает...
Над землею летят годы,
а Днепр высыхает.
Рассыпаются курганы —
гордые могилы —
твоя слава... Не сберег ты,
старче, прежней силы,
и никто не молвит слова,
никто не покажет,
где ты стоял, зачем стоял,
и в шутку не скажет!

За что же мы панов рубили?
Орду бесчисленную били
и ребра пикой боронили
царевым слугам?.. Засевали,

жаркой кровью поливали
и саблями боронили.
Что ж мы сжали, что скосили??!
Злые травы... злые травы...
Воли горькую отраву.

А я, горемыка, на твоих руинах
даром слезы трачу; дремлет Украина
бурьяном покрылась, цвелью зацвела
сердце молодое в сырости сгноила.
И в дупле холодном гадюк приютила
а детям надежду в степи отдала.
А надежду эту...
Ветер гнал по свету,
сила моря разнесла.
Пускай же ветер все разносит
на трепетном своем крыле.
Пускай же сердце плачет, просит
священной правды на земле.

Чигирине, Чигирине,
друг ты мой единый!
Проспал простор степей и гор
и всю Украину.
Спи, опутанный корчмами,

пока день не встанет,
пока гетманам подняться
время не настанет.
Помолившись, и я б заснул...
Так думы мешают,
думы душу мне сжигают,
сердце разрывают.
Ой, не жгите, подождите,
может быть, я снова
найду правду горестную,
ласковое слово.
Может, выкую из слова
для старого плуга
лемех новый, лемех крепкий,
взрежу пласт упругий...
Целину вспашу, быть может,
загрущу над нею...
И посею мои слезы,
слезы я посею.
Пусть ножей взойдет побольше
обоюдоострых,
чтобы вскрыть гнилое сердце
в язвах и коросте.
Пусть выцедят сукровицу,
а нальют горячей,

светлой, свежей, чистой крови
молодой — казачьей!!!

Может... может... А пока что
меж ножами снова
Рута-мята расцветает,
и тихое слово,
мое слово, слово песни
богобоязливой
вспомнят люди, и девушка
с сердцем боязливым
встрепенется, будто рыбка,
слыша это слово...
Слово мое, слезы мои,
рай мой, рай суровый!

Спи, Чигирине! Пусть погибнут
вражеские дети.
Гетман, спи, пока не встанет
истина на свете.

Сова

Родила казачка сына
в зеленой дуброве;
дала ему карие очи
и черные брови.
Китайкою повивала,
святых умоляла,
чтобы их святая воля
сыну долю слала.
«Пошли тебе мать Божья
своей благодати —
всего, чего мать не может
дать сама дитяти!»
Брала воду до восхода,
в барвинке купала.
До полночи колыхала,
до зари певала:

«Спи, мой милый...
Я в рощу ходила,
кукушку слыхала.
Она предсказала:

сто лет любоваться
я буду тобою,
в шелка наряжаться
и жить госпожою.
Не замечу даже,
как промчатся сроки —
Станешь, словно княжич,
как яшень высокий,
стройный и красивый,
веселый, счастливый
и не одинокий.
Хоть со дна морского
сыну я достану
сотничью, купцову
дочку черноброву —
панну так уж панну!
Ходит в красных черевичках,
в зеленом уборе
по светлице павой-панной,
с ласкою во взоре
да с тобой ведет беседу;
в хате — словно в храме.
Я ж сижу в углу почетном
да люблюсь вами.

Ты, дитяtko, сын мой,
любимый, единый, —
есть ли лучше в целом свете,
по всей Украине?
Нету лучше и не будет —
полюбуйтесь, люди!
Нету лучшего!.. А счастье —
счастье он добудет!»
Ой, кукушка, кукушечка,
Зачем куковала?
Долгие зачем ей годы —
сто лет предсказала?
Разве есть на этом свете
счастливая доля?
Эх, когда бы... мать смогла бы
с далекого поля
приманить для своих деток
и долю и волю...
Где там... Ведь беда-злосчастье
встретит, не забудет.
На дороге ль, без дороги —
всюду, где есть люди!
Как цветок под ясным солнцем,
сына мать растила,
любовалась... Той порою

лег отец в могилу.
Мать осталась вдовою —
хоть и молодою
и с сыночком, а все тяжело...
С горем да тоскою
пошла она у соседей
попросить совета;
а они совет — батрачить —
дали ей на это...
Извелась и обнищала,
бросила подворье
и пошла в батрачки... Злое
не минуло горе.
Дни и ночи надрывалась,
подати платила...
И за три полтины сыну
жупанчик купила,
чтоб и ее, вдовье, в школу
дитяtko ходило!
Ой, вы, беды-напасти,
вдовье горькое счастье!
Где гуляешь ты с ватагой
ясным днем и в ненастье
оборванцем-бродягой?
Богатому и на гору

вода потечь рада,
а бедному и в овраге
рыть колодец надо.
У богатых растут дети —
вербы на раздолье.
У вдовы ж один — и этот
что былинка в поле!

Дождалась батрачка счастья,
вырастила сына:
и грамотный и красивый,
хлопец — что картина.
Безмятежно и привольно
жизнь катилась вдовья;
и засматривались девки,
рушники готовя.
Полюбила богатая —
не поцеловала,
только зря ему платочек
шелком вышивала.
Кралось горе из-за моря
через леса и степи —
и подкралось... Стали хлопцев
заковывать в цепи;
И по тракту потащились

к городу обозы.

Шла вдова меж матерями,
проливая слезы.

Ночью на привале
стражу выставляли,
старую вдову к обозу
и не подпускали.

Ой, к приему привезли их —
забривать в солдаты.

Все-то мелки, недомерки,
все сынки богатых:

тот калека спокон века,
этот грудью шире,
тот горбатый, тот богатый,
тех в дому четыре.

И всех долой, и всех домой,
всем удача в мире.

У вдовы один лишь сын,
и тот как раз под аршин!
Снова бросила хозяйство,
сыновнюю хату.

Работала у евреев
за жалкую плату —
ведь крещеные не взяли:
«Стара, молвят, больно,

не справится!» И огрызок
кинут недовольно,
Христа ради... Не дай Боже,
Лучше б не родиться,
не дай Боже, чтоб богатый
Дал глоток водицы!
По копейке получала —
полтинник собрала,
Письмо сыну написала
да в войско послала.
Полегче стало. Год прошел,
и второй, и третий,
и четвертый, и десятый,
а ответа нет ей.
Нет весточки. Как тут быть?
Суму нужно брать ей,
идти... идти собак дразнить —
в путь, от хаты к хате.
Взяла суму, прошла селом,
на выгоне села
и в село не возвращалась...
День и ночь сидела
за околицей. А годы
пролетают глухо.
Сгорбилась да почернела —

не узнать старуху.
Да кому и узнавать-то!
Нищенкой убогой
все сидит себе да смотрит
в поле, на дорогу.
Дни за днями, ночь за ночью,
от ночей к рассвету...
А солдата — ее сына —
нету, нету, нету!..

В час вечерний над озером
буйный ветер лозы гнет.
К ужину родная сына
до зари напрасно ждет.
В час вечерний над озером
шелестит камыш слегка.
Поджидает подруженька
в темной роще казака.
В час вечерний ветер веет,
клонит кустик тощий;
плачет мать родная в хате,
а девушка — в роще.
Поплакала молодая —
запела на зорьке;
поплакала мать седая —

зарыдала горько.
И молилась, и рыдала,
кляла все на свете.
Ох, для матери вы тяжки,
несчастные дети!
Искалеченные руки
к небу подымала,
свою долю проклинала,
сына призывала.
Иль, оставив причитанья,
смокнет — и с тревогой,
удрученная, сквозь слезы
смотрит на дорогу.
День и ночь глядит. И стала
всех встречать вопросом:
может, где-нибудь солдата
видеть довелось им —
ее сына? Нет, не знают, —
и проходят мимо.
Сидит она, уж не плачет,
тиха, недвижима,
помешалась с горя! Камень
к сердцу прижимает,
То ругает, то ласкает,
Сыном называет

и сквозь слезы тихонечко
песню напевает:

«Змея хату подпалила,
детям каши наварила,
расстелила белый плат,
гуся серые летят;
разлетелись гуся шире,
по четыре, по четыре.
Полетели в дол, в дол!
На кургане — орел.
На кургане среди ночи
он клюет казачьи очи,
а дивчина до восхода
ждет дружочка из похода».
Днем на свалках по задворкам
черепки сбирала,
бормотала, что гостинец
сыну припасала.
А ночами — растерзана
и простоволоса —
бродит, песни распевает
дико, безголосо.
Люди злились... Она, видишь,
спать им не давала

и крапиву под их тыном
да бурьян топтала.
Дети с палками гонялись
утром за вдовою
по улицам; и в насмешку
дразнили Совою.

Сон

У всякого своя доля
и свой путь широкий:
этот строит, тот ломает,
этот жадным оком
высматривает повсюду
землю, чтобы силой
заграбастать и с собою
утащить в могилу.
Третий в карты, словно липку,
обдирает свата,
тот тихонько в уголочке
точит нож на брата.
А тот, тихонький да трезвый,
богобоязливый,
как кошечка, подкрадетсЯ,
выждет несчастливый
день для вас, да как запустит
когтища в печенку,—
не разжалобят злодея
и слезы ребенка!
А тот, щедрый, храмы строит.

Тысяч не жалеет,
а уж родину так любит,
так душой болеет
за нее, так из сердешной
кровь, что воду, точит!..
Молчат люди, как ягнята,
вытаращив очи!
Пускай: «Может, так и надо?» —
скажет люд убогий.
Так и надо! Потому что
нет на небе Бога!
Под ярмом вы падаете,
ждете, умирая,
райских радостей за гробом —
нет за гробом рая!
Образумьтесь! Поглядите;
все на этом свете —
и нищие и царята —
Адамовы дети!
Тот... и тот... А что же я-то?
Я, добрые люди,
лишь гуляю да пирую
и в праздник и в будень.
Вам досадно? Сетуете?
Слушать не хочу я!

Не бранитесь! Я свою пью,
а не кровь людскую!
Так, вдоль плетней тропой знакомой
идя с пирушки в час ночной,
болтал я пьяный сам с собой,
покуда не добрел до дому.
Нет у меня детей; жена
не бранит, встречая.
Дом отрадней рая, —
кругом такая тишина
и в сердце и в хате...
Вот и лег поспать я...
А если пьяный да заснет,
пусть хоть орудья катят, —
он усом не моргнет.
И сон же, сон на диво дивный
в ту ночь мне снился.
Тут и непьющий бы напился,
последний скряга дал бы гривну,
чтоб глянуть, хоть едва-едва...
Да — черта с два!
Вот вижу: вроде как сова
летит над балками, прудами и лугами,
над оврагами и рвами,
над широкими степями

и пустырями.

А я за нею поднимаюсь,
лечу, лечу, с землей прощаюсь.

«Ты прощай, земля родная,
край скорби и плача!

Мои муки, злые муки
в облаках я спрячу.

Ты ли стонешь, Украина,
вдовой бесталанной!

Прилетать к тебе я стану
полночью туманной.

Для печально-тихой речи
на совет с тобою

буду падать в полуночи
свежею росой.

Побеседуем, покамест
утро не настанет,

пока твои малолетки
на врага не встанут.

Так прощай, земля родная,
отчий край убогий!..

Расти деток: жива правда
у Господа Бога!»

Летим... Гляжу — уже светает,

край неба пылает,
соловейко в темной роще
солнышко встречает.

Видно — степи голубеют,
тихо ветер веет;

меж ярами над прудами
вербы зеленеют.

Разрослись сады густые.

Тополя на воле

встали, словно часовые,
беседуют с полем.

Вся страна моя родная
сияет красою,

зеленеет, умываясь
чистою росой.

Хорошеет, умываясь,
солнышко встречая,
не видать ее просторам
ни конца, ни края!

Не убьет ее, не сломит
никакая сила...

Душа моя! Ты о чем же
снова загрустила?

Душа моя! Ты о чем же
горько зарыдала?

Чего тебе жалко? Иль ты не видала,
Иль ты не слыхала рыданий людских?
Гляди же! А я — улечу я от них
за синие тучи высоко, высоко;
там нету ни власти, ни кары жестокой,
ни горя, ни радости там не видать.
А здесь — в этом рае, что ты покидаешь,
сермягу в заплатах с калеки снимают,
со шкурой дерут,— одевать, обувать
княжат малолетних. А вон — распинают
вдову за оброки; а сына берут, —
Любимого сына, единого сына, —
в солдаты отраду ее отдают.
А вон умирает в бурьяне под тыном
опухший, голодный ребенок! А мать
угнали пшеницу на барщине жать.
А вон видишь? Очи, очи!
Куда деться с вами?
Лучше бы вас высушило,
выжгло бы слезами!
То покрытка вдоль забора
с ребенком плетется, —
мать прогнала, и все гонят,
куда ни толкнется!..
Нищий даже сторонится!..

А барчук не знает:
он, щенок, уже с двадцатой
души пропивает!

Видит ли Господь сквозь тучи
наши слезы, горе?
Видит он да помогает,
как и эти горы
вековые, облитые
кровью людскою!
Душа моя мученица,
горе мне с тобою!
Так упьемся горьким ядом,
уснем под снегами,
пошлем думу прямо к Богу;
там, за облаками,
спросим: долго ль кровопийцам
царствовать над нами?
Лети ж, моя дума, моя злая мука!
Возьми эту ношу мучений и зла —
друзей своих верных!
Ты с ними росла,
ты с ними сроднилась; их тяжкие руки
тебя пеленали. Бери ж их, лети
и по небу всю их орду распусти!

Пускай чернеет, багровеет,
пламенем повеет,
пускай лютый змей всю землю
трусами усеет!

А пока ты не вернешься, —
я, сердце скрывая,
белый свет пройду до края,
не найду ли рая.

И вновь я над землею рею,
и вновь прощаюсь я с нею.
Тяжко бросить мать-старуху
без крова, без хаты,
но страшнее видеть всюду
слезы да заплаты.

Лечу, лечу, а ветер веет,
передо мною снег белеет;
глухие, топкие места,
туман, туман и пустота.
Безлюдье, глушь, не знать и следу
злой человеческой ноги.

Враги мои и не враги,
прощайте! В гости не приеду.
Упивайтесь и пируйте,
не услышу боле, —
я один себе навеки

заночую в поле...
И пока вы не узнали
о крае далеком,
где не льются кровь и слезы,
я усну глубоко.

Я усну... Но вдруг я слышу —
под землей неясно
цепи звякнули... Я глянул...

О народ несчастный!

Ты откуда, чем ты занят?

Чего ищешь, роясь
под землю?.. Нет, должно быть,
я от вас не скроюсь
даже на небе!.. За что же
мне такие муки?

Кому что я сделал злое?

Чьи тяжкие руки
в теле душу заковали,
грудь испепелили
и, как тучи галок,
думы распустили?

За что, не знаю, а карают,
и тяжко карают,
иль не будет этим мукам
ни конца, ни краю?

Не вижу, не знаю!

Пустыня вдруг зашевелилась...

Земля, как тесный гроб, раскрылась,
и из земли на Страшный суд
за правдой мертвецы встают...

Не мертвы они, не просят
жалости у судей!

То идут, гремя цепями,
все живые люди,

Золото из нор выносят,
чтоб жадности лютой

заткнуть глотку. А за что ж их
в рудники сослали?

Знает Бог... Хотя и сам-то
знает он едва ли!

Вон — вор, клеймом отмеченный,
гремит кандалами,

другой, кнутами сеченный,
скрежещет зубами —

друга он зарезать хочет
своими руками.

А меж ними, злодеями,
вон — в одежде рваной

царь всемирный, царь свободы,

царь, клеймом венчанный!
Цепи носит и не стонет
в муке бесконечной!
Сердце, что добром согрето —
не остынет вечно!

А где же твои думы в их вешнем расцвете?
Любовно взращенные, смелые дети?
В чьи руки ты, друг мой, судьбу их вручил?
Иль, может быть, в сердце навек схоро-
нил?

Не прячь! Разбросай их, рассыпь их повсю-
ду!

Взойдут, разрастутся, могучими будут!

Еще мытарство? Иль уж будет?
Будет, будет, тут холодно!
Мороз разум будит.
И вновь лечу. Земля чернеет.
И дремлет ум, и сердце млеет.
Гляжу: дома стоят рядами,
кресты сверкают над церквями,
по площадям, как журавли,
солдаты на муштру пошли,
хорошо обуты, сыты,

в цепи накрепко забиты,
маршируют... Дальше глянул:
вот в низине, словно в яме,
город средь болот дымится.
Над ними тучами клубится
мгла густая. Долетаю...
То город без края!
То ли турецкий,
то ли немецкий,
а быть может, даже русский?
Господа пузаты,
церкви да палаты
и ни одной мужицкой хаты!

Смеркалося... Огнем, огнем
кругом запылало —
тут я струхнул... «Ура! ура!» —
толпа закричала.
«Цыц вы, дурни! Образумьтесь!
Чему сдуру рады,
что горите?» — «Экой хохол!
Не знает парада!
У нас парад! Сам изволит
делать смотр солдатам!»
«Где ж найти мне эту цацу?»

«Иди к тем палатам».

Я пошел. Тут мне, спасибо,
землячок попался

с казенными пуговками.

«Ты откуда взялся?»

«С Украины», — «Ты ж ни слова
молвить не умеешь
по-здешнему!» — «Э, нет, братец,
говорить умею,

да не хочу!» — «Вот чудак-то!

Я все входы знаю.

Я служу здесь... Если хочешь,
ввести попытаюсь

во дворец тебя, но только

здесь, братец, столица —
просвещенье! Дай полтинку!»

«Тьфу тебе, мокрица
чернильная!..» Стал я снова,

как дух бестелесный,
невидим. Вошел в палаты.

Царь ты мой небесный,
вот где рай-то! Блюдолизы
золотом обшиты!

Сам по залам выступает,
высокий, сердитый.

Прохаживается важно
с тощей, тонконогой,
словно высохший опенок,
царицей убогой,
а к тому ж она, бедняжка,
трясет головою.
Это ты и есть богиня?
Горюшко с тобою!
Не видал тебя ни разу
и попал впросак я, —
тупорылому поверил
твоему писаке!
Как дурак, бумаге верил
и лакейским перьям
виршеплетов. Вот теперь их
и читай, и верь им!
За богами — бары, бары
выступают гордо.
Все, как свиньи, толстопузы
и все толстоморды!
Норовят, пыхтя, потея,
стать к самим поближе:
может быть, получают в морду,
может быть, оближут
царский кукиш!

Хоть — вот столько!
Хоть полфиги! Лишь бы только
под самое рыло.
В ряд построились вельможи,
в зале все застыло,
смолкло... Только царь бормочет,
а чудо-царица
голенастой, тощей цаплей
прыгает, бодрится.
Долго так они ходили,
как сычи, надуты
что-то тихо говорили,
слышалось: как будто,
об отечестве, о новых
кантах и петлицах
о муштре и маршировке.
А потом царица
отошла и села в кресло.
К главному вельможе
царь подходит да как треснет
кулачищем в рожу.
Облизнулся тут бедняга
да — младшего в брюхо!
Только звон пошел. А этот
как заедет в ухо

меньшему, а тот утюжит
тех, что чином хуже,
а те — мелюзгу, а мелочь —
в двери! И снаружи
как кинется по улицам
и — ну колошматить
недобитых православных!
А те благим матом
заорали да как рявкнут:
«Гуляй, царь-батюшка, гуляй!
Ура!.. Ура!.. Ура-а-а!»
Посмеялся я и — хватит;
и меня давнули.
Все же здорово. Под утро
битые заснули...
Православные все тише
по углам скулили
и за батюшкино здравье
Господа молили.
Смех и слезы! Вот смотрю я
на город богатый.
Ночь как день! Куда ни глянешь —
палаты, палаты...
А над тихую рекою
весь каменный берег.

Я гляжу, как полоумный,
и глазам не верю, —
не пойму, не разумею, —
откуда взялося
это диво?.. Вот где крови
много пролилося
без ножа! А за рекою
крепость с колокольней, —
шипль как шило — как посмотришь,
жуть берет невольню.
И куранты тельнякают...
Кругом озираюсь,
вот — конь летит, копытами
скалу разбивает.
Всадник — в свитке и не в свитке,
без седла, как влитый,
и без шапки, только листом
голова повита.
Конь ярится — вот-вот реку,
вот... вот... перескочит!
Всадник руку простирает,
будто мир весь хочет
заграбастать. Кто ж такой он?
Подхожу, читаю,
что написано на камне:

«Первому — вторая»
поставила это диво.
О! Теперь я знаю:
этот — первый, распинал он
нашу Украину.
А вторая доконала
вдову-сиротину.
Кровопийцы! Людоеды!
Напились живою
нашей кровью! А что взяли
на тот свет с собою?
Так мне тяжело, трудно стало,
словно я читаю
историю Украины!
Стою, замираю...
В это время — тихо, тихо
кто-то запекает
невидимый надо мною:
«Из города из Глухова
полки выступали
с заступами на линию,
наказным послали
гетманом меня в столицу,
вместе с казаками.
О, Боже наш милосердный!

О, изверг поганый!
Царь проклятый, царь лукавый!
Здесь, в земле пустынной,
что ты сделал с казаками?
Засыпал трясины
благородными костями;
поставил столицу
ты на их кровавых трупах!
И в темной темнице
умер я голодной смертью,
тобою замучен,
в кандалах!.. О царь! Навеки
буду неразлучен
я с тобою! Кандалами
скован я с тобою
на века веков! Мне тяжело
витать над Невою!
Может быть, уж Украины
вовсе нет. Кто знает!..
Полетел бы, поглядел бы,
да Бог не пускает.
Может, всю ее спалили,
в море Днепр спустили,
насмеялись и разрыли
старые могилы —

нашу славу. Боже милый,
сжался, Боже милый».

Все замолкло. Вот я вижу:
туча снегом кроет
небо серое. А в туче
зверь как будто воет.
То не туча — птица тучей
белой закружила
над тем медным исполином
и заголосила:
«Кровопийца! Мы навеки
скованы с тобою.
На суде последнем, Страшном
мы Бога закроем
от глазищ твоих несытых.
Ты нас с Украины
гнал, холодных и голодных,
в снега, на чужбину!
Погубил нас, а из кожи
нашей багряницу
сшил ты жилами погибших,
заложил столицу
В новой мантии! Любишься ж
на свои палаты!

Веселись, палач свирепый,
проклятый! Проклятый!»

Рассыпались, разлетелись.
Солнышко вставало.
Я стоял и удивлялся
так, что жутко стало.
Вот уж голь закопошилась,
на труд поспешая,
уж построились солдаты,
муштру начиная.
Заспанные, проходили
девушки устало,
но — домой, а не из дому!..
Мать их посылала
на ночь целую работать,
на хлеб заработать.
Я стою, молчу, понурясь,
думаю, гадаю:
Ох, как трудно хлеб насущный
люди добывают.
Вот и братия рысцою
сыплет в дверь сената,
скрипеть перьями да шкуру
драть с отца и брата.

Землячки мои меж ними
шустро пробегают;
по-московски так и режут,
смеются, ругают
на чем свет отца, что с детства
трещать не учил их
по-немецки,— мол, теперь вот
прокисай в чернилах!
Эх ты, пьявка! Может, батько
продавал корову
последнюю, чтоб выучил
ты столичный говор!
Украина! Украина!
Твои ль то родные,
чернилами политые
цветы молодые,
царевою беленою
в немецких теплицах
заглушены!.. Плачь, Украина,
сирая вдовица!

Глянуть, что ли, что творится
в царевых палатах?
Как-то там у них? Вхожу я, —
множество пузатых

ждет царя. Сопят спросонья,
все понадувались
индюками да на двери
косо озирались.
Вот и двери отворились.
Словно из берлоги
медведь вылез, еле-еле
подымает ноги.
Весь опухший, страшный, синий:
похмельем проклятым
мучился он. Да как крикнет
на самых пузатых.
Все пузатые мгновенно
в землю провалились!
Тут он выпучил глазищи —
затряслись, забились
уцелевшие. На меньших
тут как заорал он —
и те в землю. Он на мелочь —
и мелочь пропала.
Он — на челядь, и челяди
словно не бывало.
На солдат, и солдатики —
только застонали,
ушли в землю!.. Вот так чудо

увидал я, люди!
Я гляжу, что дальше будет,
что же делать будет
Медвежонок мой? Стоит он,
печальный, понурый.
Эх, бедняжка!.. Куда делась
медвежья натура?
Тихий стал, ну — как котенок!..
я расхохотался.
Он услышал да как зыкнет —
я перепугался
И проснулся..
Вот какой мне
привиделся странный,
дикий сон. Такое снится
разве только пьяным
да юродивым. Простите,
сделайте мне милость,
что не свое рассказал вам,
а то, что приснилось.

Еретик

Подожгли соседи злые
у соседа хату,
и лежат они, погревшись,
мирным сном объаты.
Да забыли серый пепел
по ветру развеять.
Лежит пепел на распутье,
а в том пепле тлеет
искра пламени большого
и не погасает,
ждет поджога, точно мститель
часа ожидает,
злого часа! Тлела искра,
тлела — ожидала
на широком раздорожье,
да и гаснуть стала.

Так и неметчина спалила
большую хату и семью,
семью славян разъединила
и тихо-тихо к ним впустила

усобиц лютую змею.

Полилися реки крови,
пожар потушили,
а сирот и пепелище
немцы поделили.

И в оковах вырастали
славянские дети
и в неволе позабыли,
кто они на свете.

А на старом пепелище
искра братства тлела,
дотлевала, ожидала
крепких рук и смелых —
и дождалась!... Ты увидел
под пеплом глубоко
огонь добрый смелым сердцем
и орлиным оком!

И зажег ты яркий светоч —
светоч правды, воли,
и славян семью большую
во тьме и неволе
сосчитал ты до едина —
сосчитал лишь трупы,
а не славян. И восстал ты

на крутых уступах —
на всемирном раздорожье —
Иезекиилем.

И — о, чудо! — трупы встали
и глаза раскрыли;
обняли друг друга братья
и заговорили
языком любви сердечной,
подружась навеки!
И слились в едином море
славянские реки!

Слава тебе, ученому,
чеху-славянину,
что не дал ты уничтожить
немецкой пучине
нашу правду! И родное
славянское море
снова станет многоводным,
и в его просторе,
с верным кормчим, под ветрилом,
свежим ветром полным,
поплывет наш челн по морю,
по широким волнам.
Будь же славен ты, Шафарик,

воеки и веки,
что в одно собрал ты море
славянские реки!

Так прими же в своей славе,
повстречай приветно
эту думу немудрую,
дар мой неприметный,
про того святого чеха,
мученика Гуса!
Прими, отче! А я тихо
Богу помолюся,
Чтобы стали все славяне
братьями-друзьями,
сыновьями солнца правды
и еретиками,
вот такими, как Констанцкий
муж великий, правый!
Принесут они навеки
миру мир и славу!

(Ян Гус)

Камень, который отвергли строители,
он оказался во главе угла:

от Господа это было,
и дивно в очах наших.

Псалом 117, стихи 22-23

«Кругом неправда и неволя,
народ замученный молчит,
а на апостольском престоле
монах раскормленный сидит.

Он кровью, как в шинке, торгует,
Твой светлый рай сдает внаем!

О, царь небесный! Суд Твой всеу,
и всеу царствие Твое.

Разбойники, людоеды
правду побороли,
осмеяли Твою славу,
и силу, и волю!

Земля скованная плачет,
словно мать по детям:
кто собьет оковы эти,

встанет в лихолетье
за Евангелие правды,
за народ забитый?
Некому! Неужто ж, Боже,
и не ждать защиты?
Нет! Настанет час великий,
час небесной кары!
Распадутся три короны
высокой тиары...
Распадутся! Благослови
на смерть и на муки,
благослови мои, Боже,
нетвердые руки!..»

Так в келье Гус с неправдой злою
решил бороться — разорвать
оковы ада... и святое,
святое чудо показать
очам незрячим.

«Поборюсь...

Со мной Всевышний! Да свершится!»

И в Вифлеемскую каплицу
пошел молиться добрый Гус.

«Во имя господи Христа,
За нас распятого на древе,

И всех апостолов святых,
Петра и Павла особенно,
мы отпускаем все грехи
вот этой буллою... святою
рабыне божьей...»

«Этой самой,
что позавчера водили
по улицам Праги.
Этой самой, что шаталась,
упившись хмелем,
по шинкам да по казармам,
по монашьим кельям.

Она деньги раздобыла
да буллу купила —
и теперь свята... О Боже!

Великая сила!

Великая слава! Помилуй людей!

Отдохни от гнева в светлых сеньях рая!

За что погибают? За что ты караешь
своих и покорных и добрых детей?

За что ты ослепил им очи
и вольный разум их сковал
оковами кромешной ночи?...

Прозрейте, люди, день настал!

Глаза раскройте, шире груди!

Проснитесь, чехи! Вы же люди,
а не потеха чернецам!
Злодеи, палачи в тиарах
все обратили в прах и дым,
Как там, в Московии, татары,
и догматы свои слепым —
нам навязали!.. Кровь, пожары,
все зло на свете, войны, свары,
мученья адские, а Рим
распутством одержим.
Вот все их догматы и слава!
Чего славней!.. А нынче — вот
установление конклава:
кто, буллы не купив, умрет,
тот — прямо в ад. А если плату
ты внес двойную — режь хоть брата.
Всех, кроме пап и чернецов,
и в рай ступай в конце концов!
И вор у вора без пощады
ворует... тут же, в церкви. Гады!
Насытились ли вы вполне
людскою кровью?.. Нет, не мне,
великий Господи, простому
рабу, судить твои дела
великие: ведь людям зла

Не причинишь ты по-пустому!
Молю я, господи, помилуй,
спаси ты нас, святая сила!
Язык мой язвами клейми,
но язвы мира изыми!
Не дай глумиться ты лукавым
над вечною твоею славой
и над смиренными людьми!...»

И плакал Гус, творя молитву,
слезами тяжкими... Народ
дивился молча: что творит он?
И на кого он восстает?

«Глядите, люди! Вот вам булла,
что я читал!» И показал
ее народу. Всколыхнуло
толпу: он буллу разорвал!
Из Вифлеемской той каплицы
до самой мировой столицы
громами эхо понеслось.
Монахи скрылись... Грозной карой
в конклаве эхо отдалось —
и дрогнула, кренясь, тиара!
Зашипели в Ватикане

змеями монахи.
Авиньон с монашьям Римом
зашептался в страхе,
зашептались антипапы —
потолки трясутся
от шепота. Кардиналы
гадюками вьются
вкруг тиары. И украдкой
меж собой грызутся,
что коты за мышь... И как же!
Тут ведь меху, кожи
горы целые... А мяса!!!
Даже стены тоже
вдрогнули при вести: в Праге
уж гогочут гуси
и летят с орлами биться...
Всполошился, струсив,
собрался конклав... Решили:
меж собой не споря,
встать на Гуса и в Констанце
воронью быть в сборе!
Да стеречь везде позорче,
глядеть сверху, снизу,
чтоб не дать в славянском поле
скрыться птахе сизой.

То не воронье слеталось —
монахи толпою
повалили. Степь, дороги
точно саранчою
покрылись: герцоги, бароны,
псары, герольды, шинкари
и трубадуры-кобзари...
Змятятся латников колонны.
За герцогинями без счета
все немцы: соколов несут,
те едут, те пешком идут...
Кишат! Всяк рвется на охоту,
как гад на солнышко спеша!
О, чех! Жива ль твоя душа?
Глянь, сколько силы повалило
как бы на сарацина, в бой
иль на великого Аттилу!

А в Праге ропот, гул глухой,
и кесаря, и Вячеслава,
и весь собор тысячеглавый
там вслух бранят наперебой,
В Констанц не отпуская Гуса.
«Жив Бог! Жива душа моя!

Я смерти, братья, не боюсь!
Я докажу тем змеям! Я
у ненасытных вырву жала!...»
И Гуса Прага провожала,
как дочь — отца...

На заре Констанц проснулся
в колокольном звоне.
Собирались кардиналы,
как быки в загоне,
и румяны и дородны;
прелатов орава,
трое пап, князья, баронство,
венчаные главы.
Собрались, как иуды
на суд нечестивый
над Христом. И брань и ссоры.
Вой и крик визгливый,
будто в лагере татарском;
иль в еврейской школе,
и вдруг разом онемели!..

Как в ливанском поле
гордый кедр — так Гус, в оковах,
встал перед собором,

и окинул нечестивых
он орлиным взором.
Задрожали, побледнели,
молча взор вперили
в мученика. «Что ж, меня вы,
спорить звали или
любоваться оковами?»
«Стой, предерзкий, молча! —
гадюками зашипели,
завыли по-волчьи. —
Еретик ты! Еретик ты!
Ты погряз в расколе!
Ты усобицы лишь сеешь,
ты святейшей воли
не приемлешь!» — «Одно слово!..»
«Господом проклятый,
еретик ты! Еретик ты! —
ревели прелаты. —
Ты усобник!» — «Одно слово!..»
«Замолчи, проклятый!»
Гус взглянул на пап и молча
вышел из палаты.
«Победили! Победили!..»
Словно озверели.
«Аутодафе! Аутодафе!..» —

разом заревели.

И всласть монашеская братья
всю ночь с баронами пила.
На Гуса сыпались проклятья...
Но вот гудят колокола,
идут молиться в церковь Божью
за грешника монахи в ряд.
Горит багровая заря —
и солнце хочет видеть тоже,
что с Гусом праведным творят?!

Загудел Констанц от звона,
в кандалах, под стражей,
на Голгофу ведут Гуса...
И не дрогнул даже
пред костром, ступил на пламя
он с молитвой смело:
«О, Господи милосердный,
что, скажи, я сделал
этим людям, твоим людям?
За что меня судят?
За что меня распинают?
О, молитесь, люди
неповинные! И с вами

то же, то же будет!
Лютый зверь пришел, овечьей
шкурою покрытый!
Точит когти... Горы, стены
от него защиты
не дадут вам!.. Разольется
багряное море
крови, крови детей ваших...
О, горе! О, горе!
Вон те звери! В светлых ризах,
злостью полон каждый...
Жаждают крови...»
«Жги! Пожарче!»
«Крови! Крови жаждут!
Вашей, вашей крови!..» Дымом
праведника скрыло.
«О, молитесь же! Молитесь!
Господи! Помилуй,
прости ты им — ведь не знают...»
И не слышно стало.
Вкруг огня, как псы на страже,
цепь монахов встала —
все боялись, чтоб не выполз
он змеей из жара,
не обвинил кольцом корону

или же тиару.

Погас костер; дунул ветер,
всюду пепел сея.

Видели простые люди
огненного змея
на тиаре. Расходились
и Те Деум пели,
и за трапезой монахи,
вкушая, сидели
день и ночь — опухли даже.

Малою семьею
сошлись чехи. Из-под пепла
горсть земли с собою
взяли в Прагу. Так монахи
Гуса осудили
и сожгли. Но Божье слово
с ним не умертвили, —
не думали, что ринется
после гуся яро
орел с неба и расклюет
гордую тиару.

Да и что им!

Разлетелись
монахи, бароны,

точно с пира кровавого
черные вороны.

Разгулялись по хоромам,
даже не вспомнят!
Знай пируют да порою
Те Деум затянут.
С корнем вырвали... Пойдите!
Вон над головою
старый Жижка из Табора
взмахнул булавою.

Слепой

Думы мои молодые,
те, что в небе реют,
не вернутся с того света,
стен не обогреют.
Покинули сиротою,
с тобою одною —
сердцем моим, светом моим,
раем, тишиною!
Никому мой рай не ведом,
ты сама не знала,
что звездою путеводной
надо мной сверкала.
Я гляжу, не налюбуюсь...
Вот сверкнула снова,
вот склонилась, уронила
ласковое слово,
Вот мелькнула, улыбнулась.
Гляжу — и не вижу;
а проснусь — и плачет сердце,
из глаз — слезы брызжут.

Спасибо, звездочка! Темнеет
мой день печальный. Вечереет.
Над головой уже трясет
косою смерть. Срок подоспеет, —
умру, и след мой занесет
холодный ветер. Все стареет.
Быть может, и тебя овеет,
брызнувши слезами,
Моя дума. И тихими,
тихими речами
ты промолвишь: «Я любила,
я его любила,
а он не знал!» Звезда моя!
Над моей могилой
гори, звезда... А я буду,
святая, родная,
петь о тебе, с того света
к тебе прилетая.

Этот — бродит за морями
по белому свету,
ищет счастья — не находит,
нигде его нету.
Как вымерло! Другой рвется

из последней силы
за удачей... Вот-вот догнал
и — сразу в могилу!
А третьему — как нищему;
ни хаты, ни поля,
одна сума, а из сумы
глядит его доля,
Как ребенок. А он ее
хает, прокликает,
продает и пропивает —
нет, не покидает!
Как репей, что прицепится
к нищенской заплате
и с чужого урожая
колосья прихватит.
А там снопы, а там скирды.
Глядишь — и в палате
сидит себе побирושка,
словно в своей хате.
Вот оно — какое счастье!
Не догнать — упрямо,
а полюбит — дастся в руки
с колыбели самой.

В рубахе чистой, отбеленной,

веселый, в новых сапогах,
сидел на троицын день зеленый
старик с бандурою в руках,
седой казак.

«И так и сяк...

И нужно бы, да неохота...

А все же нужно. Хоть два года
пускай по свету он порыщет
и сам судьбу свою поищет,
как я искал ее... Ярина!

А где Степан?» — «А вон под тыном,
как в землю вкопан, нем и глух!»

«А мне и невдомек... Эй, друг,
иди сюда! Идите оба!

Как вам такая дробь на пробу?»

И грянул по струнам.

Он играет, а Ярина
со Степаном в пару.

Он играет, подбавляет
каблуками жару:

«Кабы мне такого бы горя:
со свекровью жить, да не споря,
кабы мне молодой муженек,
от меня б не отходил весь денек!
Ой, гоп, чики-чики,

кабы новы черевики,
еще бубон да цимбалы,
Я бы только то и знала —
молодого обнимала!
Ой, гоп гопака,
оженили казака!
Он и печь затопил,
и борща наварил!»
«А ну, дети, еще этак!»
Разобрало старика.
Как ударит, как ушкварит,
кулаки упер в бока...

«А и то не беда,
что выросла лебеда!
Кроши густо,
на капусту —
Будет добрая еда!
А вот это — так беда,
что женили смолода,
оженили,
не спросили —
не осталось и следа!»

«Нет, не то уж — подкосилась

бывалая сила!

Утомился. А это вы
подбавили пыла.

А, чтоб вам! Года-годочки
к земле клонят низко...

Состарился. Иди, дочка,
готовь чашки, миски.

Сказать правду — я голоден,
солнце над стеною.

А ты, сынок, до полдень
останься со мною.

Садись, браток.

Как отец твой
в Польше пал убитым,
ты после него остался
сиротой забытым...»

«Так я, значит, не родной вам,
я не сын ваш? Боже!..»

«Слушай, милый! Вот вскорости
мать умерла тоже.

Остался ты, я и сказал
покойной Марине,
жене своей: «Возьмем его
себе вместо сына», —
Тебя, значит. Она рада.

Вот вы близнецами
с Яриною и выросли...

А что дальше — сами
посудите. Ты в возрасте,
она взрослей стала.

Надо думать, как жить дальше
вам бы подобало.

Что скажешь ты?» — «Я не знаю...

Я думал, что это...»

«Что Ярина сестра твоя?

А глядишь, не это...

Дело просто: если любя,
можно повенчаться.

Только вот что: нужно раньше

в людях потолкаться,

приглядеться, как живут,

то ль пашут,

то ль по непаханому сеют,

и прямо жнут,

и немолоченое веют,

а что размелют — прямо в рот, —

узнай народ!

Так вот что, милый: нужно в люди
тебе пойти на год, на два.

Чужая выучит братва!

Тогда и порешим, как будет.
Тому, чья не крепка спина,
и в жизни будет грош цена.
А ты как думаешь, дружище?
Но если хочешь точно знать,
где легче горем торговать,
то в Сечь иди: там хватит пищи.
Поможет Бог — найдешь свой кус.
А мне на вкус
до сей поры тот хлеб не сладок.
Добра добудешь — принесешь,
а не добудешь — проживешь
мною нажитым. Да повадок
запорожских наберешься,
Увидишь широкий
свет совсем иным, чем в Братстве.
Ты живые строки
в синем море прочитаешь;
в честном рукопашье
Богу выучат молиться,
а не по-монашьи
бормотать под нос. Вот так-то!
Помолимся Богу
да сивого оседлаем —
и айда в дорогу!

Идем, дружок, полудновать...

Ну, как там? Готово,
Яриночка?» — «Уже, отец!»

«Вот, сын, мое слово!»

Не естся, не пьется, и сердце не бьется,
И разум затмился, и взор не глядит,
как будто глухой и незрячий сидит,
замест куска хлеба за кружку берется...

Ярина глядит и тихонько смеется:

«Что это с ним случилось? Не ест и не пьет!

Уж не разболелся ль? То бледен, то кра-
сен!»

Она его взгляда ответного ждет —
глаза он отводит. Старик же бесстрастен,
как будто не видит. «Что жать, что не
жать,

а сеять-то нужно,— в усы рассуждает
отец про себя.— Ну, пора и вставать.

А я, может, в церкви еще побываю.

А ты, Степан, ложись-ка спать —

Ведь завтра рано нам вставать
да коня седлать».

«Степаночко, голубчик мой,

на что ты в обиде?
Улыбнись мне, усмехнись мне,
разве ты не видишь,
как горько мне? Растревожил
тебя насмерть кто-то,
и на меня глядишь так, что
заплакать охота.
Я побегу, вот увидишь!
Ответь мне, Степанко!
Может, болен? Я достану
с настоями склянку,
я побегу за бабкою...
Может, глаз нечистый?»
«Нет, Ярина, мое сердце,
цветок мой душистый!
Я не брат тебе, Ярина,
я завтра покину
тебя с отцом сиротами
и навеки сгину.
А ты меня и не вспомнишь,
забудешь, Ярина,
какой я был!...» — «Перекрестись!
То с дурного глазу!
Я — не сестра?... Кто ж тогда я?...
Он потерял разум!

Что тут делать? Отца нету,
кого пойду звать я?

А он, видно, в лихорадке —
совсем без понятия...

Или ты меня дурачишь?

Разве ты не знаешь,
что умрешь ты — и нас с отцом
в землю закопаешь?»

«Нет, Ярина, не умру я,
я уеду далеко...

И вернуться раньше года
мне не будет срока.

Возвращусь я с Запорожья
женихом — не братом.

Пойдешь замуж?» — «Да ну тебя
со свахой и сватом!

Шути еще». — «Не шучу я!

Ей-богу, Ярина,
не шучу я!» — «Значит, правда?

Ты завтра покинешь
меня с отцом... Отвечай же —
это все не шутка!

Значит, правда — не сестра я?»

«Нет, моя голубка,
сердце мое!» — «Боже ты мой!

Как же я не знала!
Разве б я тебя любила,
Разве б целовала?..
Ой, стыд какой! Отойди же,
пусти мои руки!
Ты не брат мне... Ты не брат мне...
Муки мои, муки!»

И расплакалась Ярина,
Как дитя, рыдает.
«Он уедет! Он забудет!..» —
плачет, причитает.
Словно явор, наклоняясь
над речною кручей,
сердце свое Степан выжет
слезою горючей,
как смолою. А Ярина
молит, попрекает,
то замолкнет, поцелует,
то вновь зарыдает.
Не видели, как стемнело.
И сестру и брата,
словно скованных друг с другом,
застал старый в хате.

И день настал. А Ярина
не знает покою.
Вот уже Степан выводит
коня к водопою.
Подхватила ведра, мчится,
будто бы не тужит,
хозяйствует. В это время
старое оружие
отец вынес из чулана,
глянул, веселеет,
примеряет... Будто снова
старый молодеет!
Прослезился. «Сабля моя,
сабля боевая,
годы мои молодые,
сила молодая!
Послужи, мое оружие,
юношеской силе
той же верной той же службой,
что и мне служила!..»
И Ярина держит саблю,
а Степан седлает
коня — друга боевого,
жупан надевает;
он берет кривую саблю,

копье боевое,
самопал семипядевый
повис за спиною.
Как взглянула — обомлела,
и старик заплакал,
оглядевши верхового
добрého вояку.
Ведет коня за уздечку
и плачет Ярина.
Седой отец идет рядом,
наставляет сына:
«Нужно честно отслужиться,
правила держаться,
с побратимами дружитья,
в обозе не жаться...
Пускай Бог тебе поможет!»
Напоследок стоя,
при словах этих прощальных
зарыдали трое.
Степан свистнул — пыль вздымилась,
закрыла дорогу...
«Возвращайся, сын, скорее
к родному порогу!»—
закричал отец сквозь слезы...
Как елка в долине,

пошатнулась, наклонилась
без слова Ярина,
только слезы утирает
да путь озирает —
там лишь тень в пыли мелькает
и вновь пропадает.
Будто перекасти-поле
катится, чернеет,
будто мошка исчезает,
только пыль над нею...
И пропала. Долго-долго
вдаль, на ту дорожку
устремляла взор Ярина —
а уже той мошки
нет, исчезла. И дивчина
тяжело вздохнула
и с отцом своим печальна
к дому повернула.

Проходят дни, проходит лето;
настала осень, шелестит
сухой листвой. Не видя света,
старик на приступке сидит.
Яринина не слышно смеха —
отца единая утеха

больна. С кем будет век дожит?
чем старость обогреть? И снова
он вспомнил сына молодого,
свои цветущие лета.

Припомнив, заплакал
седой богатый сирота.

Заплату к заплате
на плечи нашили лета.

«В твоих руках все на сеете,
свята твоя воля.

Что случится — тому и быть.
Знать, такая доля!»

И барвинком и мятою,
травой повиликой
весна землю одевает
в радости великой,
и солнышко среди неба
засияло смело,

землю, как жених невесту,
взглядом обогрело.

И Ярина на свет божий,
хату покидая,
выползает, улыбаясь,
слабая такая.

Все ей ново, все ей мило,
все свежо, как в юность;
но ножом беда лихая
в сердце повернулась
и свет заслонила,
и подкошенной травой
Ярина склонилась;
словно листья под росой,
побелели губы.
И отец над ней склонился
подсеченным дубом.

Ко всем киевским святыням
с мольбой обращалась,
у Межигорского Спаса
трижды причащалась.
И в Почаеве священном
рыдала, молилась,
чтобы счастье со Степаном
хоть во сне приснилось.
Нет, не снилось! Возвратилась.
Снова забелела
зима снегом. Новой весной
степь зазеленела.
Вновь Ярина, кинув хату,

вышла, хорошея,
но уже не к святым молиться —
гадать к ворожее.

Ворожея ворожила,
заговоры клала,
за три деньки судьбу-счастье
воском выливала:
«Вон видишь: конь оседланный
машет головою.

А вот казак. А вот идет
старик с бородою.
Это к деньгам. Глянь — сопливый!

Вот бы догадался
Пугнуть деда! А и пугнул!
За курган забрался,
видишь, вон считает деньги.

Вот он вновь, по склону,
закрыв глаза, идет с сумой,
чтоб никто не тронул,
чтоб за ним погоня вражья
следом не метнулась...»

И веселая с гаданья
Ярина вернулась.

Уже третье, четвертое
и пятое лето
кончается — немалый срок,
а Степана нету.

И тропочки-дороженьки
яром да горою,
что хожены, ворожены,
заросли травой.

И Ярина в монашенки
постричься решает.

Старый отец на коленях
просит, умоляет —
хоть годочек, хоть леточко,
хоть троицы б дождались!...

Дождались — и стены хаты
зеленью убрали,

и мятого, и цветами
и в рубахах белых
тихонечко перед хатой,
как сироты, сели.

Сидят они печальные —
вдруг, слышат, играет
и под тихий ропот кобзы
кто-то напевает:

«В воскресенье раным-рано

сине море выло;
казачество ножевого
на кругу просило:
«Разреши ты, атамане,
парусам подняться,
чтоб за Тендер прогуляться,
с турком потягаться».
Чайки и челны спускали,
пушками их уставляли.
Из широкого устья днепровского
выплывали.

Среди ночи темная,
среди моря синего
за островом Тендером утопали,
погибали...

Один утопает,
другой выплывает,
к казакам-товарищам из волны тяжелой
руку подымает, окликает:

«Пускай вам, товарищи, Господь помога-
ет!»

И в волне тяжелой, утопает,
погибает.

Лишь три челна, слава Богу,
атамана куренного,

сироты Степана молодого
сине море не разбило,
в турецкую землю, к нечестивцам,
без рулей и весел относило.
Тогда сироту Степана,
казака реестрового,
атамана честного,
турки-янычары ловили,
из пушки стреляли,
в кандалы ковали,
в Цареградскую башню заключали,
тяжелой работой изнуряли.
Ой, Спасе наш чудотворный,
Межигорский Спасе!
И лютому врагу
не дозвошь попасться
в турецкую землю, в тяжкую неволю!
Кандалы там по три пуда,
атаманам по четыре.
И света Божьего не видят, не знают
под землею камень ломают,
без напутствия святого умирают,
погибают.
Вспомнил сирота Степан в неволе
матерь свою Украину,

неродного отца седого,
и коника вороного,
и сестру Ярину, —
плачет, рыдает,
руки к небу подымает,
кандалы ломает,
убегает на вольную волю!...
На третий день в поле
турки-янычары его догоняли,
к столбу вязали,
газа вырывали,
горячим железом выжигали,
в кандалы забивали,
в тюрьму сажали
и замуровали».

Вот так, на улице, под тыном,
еще не стар кобзарь стоял
и про неволю распевал.
За тыном слушала Ярина —
не дослушала, упала.
«Степаночко! Степаночко! —
рыдала, кричала.—
Степаночко, сердешный мой,
что ж ты затаился?...
Отец! Это же Степан наш

там остановился!»
Вышел отец за ворота,
насилу, насилу
признает его: так горе
хлопца подкосило.
«Сыночек мой бесталанный,
дитя дорогое,
где скитался ты по свету,
гонимый бедою?»
Плачет старый, обнимает,
и слепой заплакал,
точно солнце он увидел
из вечного мрака.
И берут его под руки,
и приводят в хату.
И Ярина ему служит,
как родному брату,
голову ему помыла
и ноги обмыла,
и в сорочке тонкой, белой
за стол усадила.
Накормила, напоила
и спать уложила,
Вышла с отцом, из горницы
и двери прикрыла.

«Нет, не надо, отец милый,
милая Ярина!
Я уже навек пропавший
и вновь вас покину.
За что ты свой век девичий
со мною загубишь,
С калекою?.. Нет, Ярина!
Засмеют нас люди.
Видно, счастье этой хаты
неугодно Богу.
Он от нас его прогонит
к чужому порогу.
Нет, Ярина! Бог не бросит,
ты найдешь другого,
а я уйду в Запорожье
петь под кобзу снова.
Меня любят...» — «Нет, Степан мой,
ты мне ближе сына!
И Бог тебя покарает,
если нас покинешь».
«Оставайся, Степаночко!
Не хочешь венчаться —
станем жить кате брат с сестрою
и не разлучаться.

Будем радостью, опорой
старика седого.

Сердце мое, Степаночко,
не бросай нас снова!...

Не покинешь?» — «Нет, Ярина!»

И Степан остался.

Весел старый, как ребенок,
и за кобзу взялся —
хотел струнным перебором
возвратить веселье.

На завалинке у хаты
втроем они сели.

«Расскажи теперь, Степан мой,
как беда случилась.

Ведь и мне в плену турецком
бывать приходилось».

«Вот меня, уже слепого,
турки выпускали

с казаками. Товарищи
на Сечь отбывали,

и меня с собой забрали,
и через Балканы

торопились на родину
вольными ногами.

И на тихом на Дунае

нас перегоняют
сечевики-запорожцы
и в Сечь возвращают.
И рассказывают, плача,
как Сечь разоряли,
по церквам оклады-ризы,
свечи забирали.
Как казаки-запорожцы
ночью отступали
и на тихом на Дунае
новой Сечью стали.
Как царица по Киеву
с Нечосом гуляла,
как Спас она Межигорский
ночью поджигала;
как с Днепра на это пламя
тайно любовалась,
в золотой своей галере
плыла, улыбалась.
И как степи Запорожья
тогда поделили,
за панами запорожский
народ закрепили.
Как Кирилл со старшинами
в парики влезали

и царицыны сапожки,
словно псы, лизали.
Вот так, батько! Я и счастлив,
что слепцом блуждаю,
что всего того на свете
не вижу, не знаю.
Как шляхтичи все забрали,
кровь повыпивали,
а царя и самый воздух
в цепи заковали.
Вот что было. Тяжко, отец,
от своего дому
уходить просить защиты
к нехристю, к чужому!
Теперь будто Головатый
остатки собирает,
на Кубань их подбивает,
черкеса пугает.
Пускай ему Бог поможет!
А что с того будет,
святой знает: послушаем,
что расскажут люди».
Вот так они каждодневно
вдвоем до полночи
рассуждают. А Ярина

хозяйкой хлопочет.
Вспоминают Запорожья,
прошедшую славу
и тихонько напевают
про Чалого Савву,
про Хмельницкого Богдана,
злосчастливого сына,
и про Гонту-мученика,
про славу Максима.
А Ярина их слушала
да святым молилась. Умолила.
Перед постом
они поженились...

Вот и конец моей песне.
Не дивитесь, люди!
Что бывало — миновало
и снова не будет.
Позабыты мои слезы,
не бьется, в обиде,
сердце старое, черствеет,
и очи не видят...
Ни хатенки этой белой
под синью небесной,
ни долины приветливой,

ни темного леса,
ни девической улыбки,
ни красы ребячьей
я веселыми не вижу:
все гибнет, все плачет.
Я и рад бы где укрыться,
только где — не знаю.
Всюду горе, всюду стонут,
Бога проклинаяют.
Сердце вянет, каменеет,
и не носят ноги,
и устал я, одинокий,
на своей дороге.
Оттого кричу, как ворон,
на злую примету:
солнце тучею покрылось,
и не видно свету.
Еле-еле к полуночи
сердцем прозреваю,
свою немощную песню
людям посылаю.
За живой водой и мертвой
ворон улетаает,
Иногда, ее добывши,
сердце окропляет.

И зажжется огонечек,
с темнотою споря,
и начну рассказ про счастье,
а сверну на горе.
Вот и нынче про слепого
я рассказ кончаю,
а свести концы с концами
как складней — не знаю.
Так как не было на свете
этакого дива,
чтоб жена с незрячим мужем
прожила счастливо.
А вот — случилось это диво:
год, другой на убыль,
вот они в саду друг с дружкой,
радостны, и любы.
И старик — отец счастливый —
перед светлым домом
учит маленького внука
вежливым поклонам.

Подземелье

Три души

Как снег, три пташечки летели
через Субботово и сели
на крест, который чуть стоит
на старой церкви. «Бог простит:
мы — пташки-души, а не люди.
Отсюда нам виднее будет,
как разрывать начнут подвал.
Хоть бы скорей уж начинали,
тогда б и в рай нас повпускали, —
ведь так господь Петру сказал:
«Тогда ты в рай их повпускаешь,
когда начальство раскопает
и славный обкрадет подвал».

Первая душа:

«Как была я человеком,
то Присею звалась;
здесь-то вот и родилась я,

здесь и вырастала.
Здесь, бывало, на погосте,
я с детьми гуляю,
да с Юрусем-гетманичем
в жмурки я играю.
Гетманша, бывало, выйдет,
позовет, бывало,
в дом — вон там, где клуня нынче,
и всего немало
даст — инжиру да изюму
и на руках носит.
Если ж к гетману приедут
из Чигрина гости,
так вот и шлют вновь за мною.
Оденут, обуют,
на руки берет сам гетман,
носит и целует.
Вот так-то я в Субботове
росла-вырастала!
Как цветочек; и меня все
любили, ласкали.
Не сказала я вовеки
даже слова злого
никому. Была красива,
да и черноброва.

Все-то мною любовались,
уж и сватать стали;
у меня ведь в это время
полотенца ткались.
Вот-вот скоро б подавала,
да вдруг наважденье!
Ранним-рано, в пост Филиппов,
как раз в воскресенье,
я шла за водою...
Уж давно криница
обвалилась и высохла,
а я-то — все птица!..
Вижу: гетман и старшины.
Я воды набрала,
с полными прошла пред ними;
а того не знала,
что все царю в Переяслав
присягать летели!..
И уж как, сама не знаю,
воду еле-еле
донесла до хаты. Что ж я
ведер не разбила!
Мать, отца, себя и брата,
собак отравила
этою водой проклятой!

Вот за что терзаюсь,
вот за что меня, сестрички,
и в рай не пускают».

Вторая душа:

«А меня, мои сестрички,
за то не пустили,
что московскому царю я
коня напоила —
там, в Батурине; как ехал
в Москву из Полтавы.
Я была еще подросток,
как Батурин славный
рать царева подпалила,
Чечеля убила,
и малого и старого
в Сейме потопила.

Я валялась среди трупов,
и рядом со мною
тут же, во дворце Мазепы,
моя мать с сестрою
(их зарезали обеих),
обнявшись, лежали;
и насилу-то, насилу

меня оторвали
от покойной, от родимой.
Уж как я просила
московского капитана,
чтоб меня убили!
Не убили, на забаву
солдатам пустили!
И насилу я спряталась,
и меня забыли.
А в Батурине один лишь
домик сохранился.
В этой хате уцелевшей
царь остановился,
Едучи из-под Полтавы.
я шла от криницы
по задворкам, и он меня
поманил рукою,
просит дать коню напиться.
А я — напоила!..
И не знала, что я тяжко,
тяжко согрешила!
Я едва дошла до хаты,
замертво упала.
А как только царь уехал,
бабка, что осталась

после этого пожара,
та, что приютила
меня в хате непокрытой,
меня же зарыла
и умерла на другой день
и в хате истлела.
Никого-то из народа
там не уцелело.
Уж их хату раскидали,
и пожрало пламя
бревна, балки и стропила!..
А я над ярами
и степями казацкими
и досель летаю!
А за что меня карают,
и сама не знаю!
Может быть, за то, что всем я
с радостью служила...
Что московскому царю я
Коня напоила!»

Третья душа:
«Я же в Каневе, сестрицы,
на свет народилась.
Я была еще в пеленках,

и не говорила
я еще, когда царица
в Канев проезжала.
С матерью мы над Славutoй
были, я кричала,
плакала, сама не знаю, —
есть ли мне хотелось,
иль, быть может, у малютки
что-нибудь болело?
Мать, чтобы меня забавить,
реку озирала, —
мне галеру золотую
она показала,
словно домик; на галере
вельможи сидели,
воеводы... и меж ними
царица сидела.
Я взглянула, засмеялась, —
дух перехватило!
Умерла и мать! В могиле
одной схоронили.
Вот за что, мои сестрицы,
Я теперь терзаюсь!
Вот за что меня на тот свет
досель не пускают.

Разве знала я, ребенок,
что это царица —
лютый враг Украины,
алчная волчица!..
Скажите, сестрицы?»

«Вечереет. Полетим-ка,
заночуем в Чуте,
если будет что твориться,
близко нам вернуться».
Беленькие встрепенулись,
в рощу полетели
и на ветке на дубовой
ночевать присели.

Три вороны

Первая ворона:
«Кар! Кар! Кар!
Крал Богдан товар,
да в Киев собрался,
с ворами связался,
продал, что накрал».

Вторая ворона:
«Я в Париже была
Да три злота с Радзивиллом
да с Потоцким пропила».

Третья ворона:
«Через мост идет черт,
а коза по воде:
быть беде! Быть беде!»

Вот так кричали и летели
вороны с трех сторон и сели
среди леса на холме крутом,
на дереве сторожевом.
Как на мороз понадувались

и друг за другом наблюдали,
как три сестры, что встарь цвели,
но в девках век провековали,
доколе мхом не поросли.

Первая ворона:
Вот так тебе, а так тебе!
Я в Сибирь летала,
далеконько и немного
желчи я украла
там у декабриста. Гляньте —
есть чем разговляться!
А в твоей земле царевой
есть ли чем питаться?
Иль черт знает, как убого?»

Третья ворона:
«Э... сестрица, много!
Три указа накаркала
на одну дорогу...»

Первая ворона:
«На какую? На чугунку?
Ну, уж натворила...»

Третья ворона:

«Да шесть тысяч в одной версте
душ передушила...»

Первая ворона:

«Да ты не лги, ведь только пять,
да и то с фон Корфом!

Еще чванится чужою —
не своей работой!..

Капустница несчастная!

Ваша ж милость, пани,
угощается в Париже

у панов поганых?

Пролили вы реки крови

да в Сибирь загнали

свою шляхту, и уж как же

тем гордиться стали!

Вишь, какая пани-пава...»

Вторая и третья вороны:

«Ну, а ты что скажешь?»

Первая ворона:

«Мне ль вам отвечать! На свете
вас не было даже,

как я здесь шинок держала
да кровь проливала!
Посмотрите! Карамзина,
видишь, прочитали
и думают: какие мы!
Нет, уж помолчите!
Мне, бесперые калеки,
в ровню не спешите!..»

Вторая ворона:
Ишь какая! Вовсе не та
рано встать поспела,
что до света упилася...
Та, что протрезвела!»

Первая ворона:
Без меня ты б упилася
с твоими ксендзами?
Где тебе уж! Я свалила
Польшу с королями;
при тебе же, щебетуха,
Польша бы стояла.
А с вольными казаками
что я вытворяла?
Кому их не выдавала

и не продавала?
Нет, проклятые живучи!
Думала, с Богданом
я уже их схоронила, —
встали ведь с поганым,
с этим шведским проходимцем...
Что тогда творилось!
Злюсь, как вспомню, что Батурин
сожгла, разорила,
Сулу в Ромнах запрудила
только старшинами
казацкими... а такими,
просто казаками,
Финляндию засеяла,
сыпала буграми
на Орели... Выгоняла
толпы за толпами
я на Ладогу, царю там
болота мостила.
И гетмана Полуботка
в тюрьме задушила.
Вот тогда-то был мне праздник!
Пекло испугалось,
а в Иржавеце мать божья
ночью зарыдала».

Третья ворона:

«И я таки пожила.

С татарами помутила,
с мучителем покутила,
с Петрухою попила
да немцам запродала».

Первая ворона:

«Да, ты славно начудила:
так народ свой закрепила —
немцы так им занялись,
что хоть помирать ложисьь,
у меня же, враг их знает,
все кого-то поджидают.
Я и в рабство их сдала,
и дворян я расплодила,
и в мундиры нарядила,
словно вшей, их развела;
все вельможные щенята!
Уж и Сечь, хоть бесновата,
корчмарями обросла.
Русские царевы слуги
тоже греть умеют руки!
Хоть люта я, а все-таки

сделать не сумею,
что те слуги на Украине
с казаками деют!
Напечатать им не трудно:
«Милостию божьей
и вы — наши, и все — наше,
гоже ли, не гоже!»
В хатах стало уже пусто,
вот они и рыщут
в степи, роют все курганы,
Древностей там ищут.
Все любёхонько забрали,
да лихой их знает,
для чего с подвалом этим
гадким поспешают:
чуть бы, чуть бы подождали,
церковь бы упала...
И тогда бы две руины
в «Пчеле» описали.»

Вторая и третья вороны:
«Для чего ж ты нас позвала?
Что глядеть в подвале?»

Первая ворона:

«Что ж подвал! Два дива будет,
их вы и не ждали.
В эту ночь на Украине
близнецы родятся.
Будет первый, словно Гонта,
с панством расправляться!
Другой будет... этот уж наш!
С этим панством знаться.
Наш кусается и в чреве...
Сестры, я читала,
что, как вырастет тот Гонта,
все наше пропало!
Все разрушит, уничтожит,
брата не покинет!
Даст он правду и свободу
по всей Украине!
Так смотрите же, сестрицы,
что тут замышляют!
Палачам и всем, кто с ними,
цепь приготавлиют».

Вторая ворона:

«Я золотом расплавленным
залью ему очи!»

Первая ворона:

«А золота он — проклятый
Ирод — не захочет».

Третья ворона:

«Я царевыми чинами
скручу ему руки!»

Вторая ворона:

«Со всего сберу я света
все зло и все муки!»

Первая ворона:

«Нет, сестрицы. Не так надо.

Пока слепы люди,
похоронить его надо,
а то плохо будет!

Гляньте-ка вы: над Киевом
вон метла взвилася,

Над Днепром и над Тясмином
земля затряслася.

Слышите ли? Застонала
гора над Чигрином.

Чу!.. Смеется и рыдает
наша Украина!

Близнецы уж народились.
Станет мать смеяться,
обезумев, что обоим
Иванами зваться. Полетим-ка!»

Полетели,
на лету запели:

Первая ворона
«Поплывет наш Иван
по Днепру на Лиман
с кумою».

Вторая ворона:
«Побежит наш ярчук
в теплый край есть гадюк
за мною».

Третья ворона:
«Как хвачу да помчу,
в самый ад полечу
стрелою».

Три лирника

Шли слепой, хромой, горбатый
нищие к мирянам,
путь держали в Субботово,
чтоб петь про Богдана.

Первый нищий:

«Вот-то, сказано, вороны —
нашли себе место.

Москали для них как будто
сделали насесты».

Второй нищий:

«А для кого ж? Человека,
верно, не посадят
числить звезды...»

Первый нищий:

«Ты уж скажешь!
Может, и посадят
пана, москаля иль немца;
пан, москаль и немец
и там найдут хлебец.

Третий нищий:
«Что болтаете пустое?
Что там за вороны?
Да москали да насесты?
Бог нам оборона.
Иль еще нестись заставят, —
солдат им рожай-ка!
Полонить весь мир царь хочет,
есть такая байка».

Второй нищий:
«Что ж, быть может!
Так на черта ж
на горах их ставить?
Да высокие такие,
что до туч достанешь,
если взлезешь...»

Третий нищий:
«А для того!
Вот потоп настанет,
все паны туда полезут,
да и смотреть станут,
как мужики тонуть пойдут».

Первый нищий:

«Умные вы люди,
а ничего не знаете!
Там понаставляли
для того насесты эти,
чтоб воды не крали
люди в речке; да чтоб тайно
песку не пахали,
что лежит вот, за Тясмином».

Второй нищий:

«Потерял ты разум!
Раз не знаешь, помолчал бы.
Что как под тем вязом
мы, приятели, присядем
отдохнуть немного!
В торбу две краюхи хлеба
взял я на дорогу, —
вот и поедим мы кстати,
до солнышка, рано... —
и уселись.— А кто ж, братцы,
споет про Богдана?»

Третий нищий:

«Я петь буду. И про Яссы,
и Желтые Воды,
и местечко Берестечко».

Второй нищий:

«Славные доходы
нам дадут они сегодня!
Там ведь у подвала,
как на торг, сошлись люди,
и панства немало.
Вот где нам нажива будет!
Что же, запоем-ка
пробы ради...»

Первый нищий:

«Ну их, песни!
Лучше отдохнем-ка,
день велик: мы напоемся,
а ты — петь, туда же...»

Третий нищий:

«Это верно. Помолимся,
да и спать заляжем».

Певцы под деревом заснули,

спит солнце, пташечки молчат,
а у подвала уж проснулись
и раскопать его спешат.
Копают день, копают два,
на третий едва лишь
докопались до стенки,
ночку переспали,
караул везде поставив.
А исправник просит,
никого чтоб не пускали,
в Чигирин доносит
по начальству. И начальство,
прибыв, посмотрело
и сказало: «Ломай стены!
Так вернее дело!»
Послушали. Разломали —
и перепугались!
Всё скелеты там лежали,
словно ухмылялись,
что опять им видно солнце.
Вот богатство это:
черепок, корыто, тут же
в кандалах скелеты!
Если б в форменных, тогда бы
хотя пригодились...

Засмеялись... А исправник
чуть-чуть не взбесился,
Нечем ему, вишь, разжиться;
а уж как трудился!
Он и день и ночь старался, —
в дураках остался.
Уж ему бы только в руки
тот Богдан попался, —
в рекруты его забрил бы;
не мани обманом
Правительство! Рвот и мечет.
Словно одурманен.
Яременка в рыло тычет,
бранью осыпает
весь народ, да и на нищих
моих налетает.
«Вы что делаете, плуты!»
«Мы, смотрите, пане,
распеваем о Богдане...»
«Я вам дам Богдана!
Мошенники, дармоеды!
И песню сложили
Про такого ж мошенника...»
«Да нас так учили...»
«Я научу! Эй, всыпать им!»

Взяли, разложили
да попарили в царевой,
непрохладной бане.
Вот какой дала барыш им
Песня о Богдане!
Так подвал Богданов малый
тогда раскопали;
а большого подземелья
и не доискались.

(Стоит в селе Субботове)

Стоит в селе Субботове
на горе высокой
надмогильник Украины,
широкий, глубокий.
Это церковь Богданова:
там-то он молился,
чтоб москаль добром и лихом
с казаком делился.
Мир душе твой, Богдане!
не так оно случилось:
царских слуг объяла зависть,
всё поразоряли, —
вкруг курганов наших рыщут,
роют, деньги ищут,
погребя твои разрыли,
да тебя ж ругают,
что они трудились даром!
Так-то вот, Богдане!
И тоскует Украина
сиротой бессильной!
Вот тебе и благодарность:

церковь-надмогильник
даже некому поправить!
Вот ту Украину,
что в былые дни с тобою
шляхту задавила, —
байстрюки Екатерины
саранчой покрыли.
Так-то случилось, Зиновий,
с Алексеем дружный!
Всё приятелям ты отдал,
им-то что же нужды!
Говорят, слышь, что все наше
искони здесь было,
только мы сдавали, чтобы
татарва кормилась
да поляки!.. Так, быть может!
Пускай и так будет!
Так смеются ж над Украиной
и чужие люди!
Нет, чужие, вы не смейтесь!
Церковь-надмогильник
рухнет, и тогда над нею,
и доброй и сильной,
вновь восстанет Украина,
свет правды засветит,

и помолят ся на воле
невольничьи дети!..

Наймичка

Пролог

Воскресенье утром рано
поле крылося туманом,
и склонилась в тумане,
словно тополь, на кургане
молодица молодая.
Что-то к сердцу прижимает,
горько плачет, причитает:

«Ой, туман мой, ненастье,
мое горе-злосчастье!
Отчего меня не скроешь
от беды-напасти?
Что меня ты не задавишь
и в землю не вдавишь?
Отчего мне тяжкой доли
веку не убавить?
Нет, не дави, туман белый!
Укрой только в поле,

чтоб не знал никто, не видел
горькой моей доли!...
Я не одна: есть у меня
отец и мать в хате...
Есть у меня... туман белый,
туман милый, братец!...
Есть сыночек некрещеный,
сынوك мой родимый!
Не я тебя крестить буду
на горе, любимый.
А чужие крестить будут,
я и не узнаю,
как звать сына... Дитя мое!
Богатой была я...
Не брани! Молиться стану,
слезами своими
счастья вымолю у неба
для тебя, родимый!»

Пошла полем, рыдаючи,
в тумане таилась,
и сквозь слезы тихонечко
запела уныло,
как вдова в Дунае синем
детей схоронила:

«У кургана-могилы
вдова в поле ходила,
там ходила, гуляла,
яду-зелья искала.
Яду-зелья не нашла,
двух сыночков родила,
китаечкой повила
и на Дунай отнесла:
«Тихий-тихий Дунай!
Моих деток забавляй.
Ты, песочек, их прими,
моих деток накорми!
Накорми, успокой
и собою укрой!»

Жили себе дед да баба.
В роще кудрявой на хуторе старом
вдвоем весь век свой долгий провели
в тишине, в покое,
как деточек двое.
Вдвоем ягнят пасли детьми когда-то,
а там обвенчались,
скотины дождались,
и хуторок приобрели,
и сад и пчельник завели,
и мельницу купили —
в достатке жили.
Лишь деток не дал Бог,
а смерть с косою у порога.

Кто же старость их пригреет,
для них сыном станет,
похоронит, пожалеет,
кто душу помянет?
Кто на счастье добро примет,
трудом нажитое,
будет помнить благодарно,

как дитя родное?..
Трудно вырастить ребяток
в непокрытой хате.
А еще труднее в белых
стариться палатах,
стариться и дом богатый,
угол непочатый,
умирая, чужим детям
отдать на растрату!

II

Раз в воскресенье, в день погожий,
у хаты в праздничной одежде
сидели старики вдвоем.
Ни тучки на небе; кругом,
как бы в раю, так славно было,
на небесах ни тучки!
А в сердце горе затаилось,
как зверь в несущем дремучем.
В таком раю отчего бы
старикам грустилось?
Горе ль давнее какое
в хате пробудилось?

Иль заглохшее недавно
Вновь зашевелилось?
Или новое рай светлый
огнем охватило?
О чем же, сидя у порога,
они задумались? Как знать,
уж собрались, быть может, к Богу.
Но кто в далекую дорогу
коней им станет запрягать?

«А кто нас, Настя, в гроб положит,
когда помрем?»

«Великий Боже!

Я о том же размышляла,
да так горько стало:
в одиночестве старели...

Для кого держали
добро наше?..»

«Погоди-ка!

Словно плачет, слышишь,
за воротами ребенок!

Побежим-ка!... Видишь,
так и знал: я, что-то будет!»

И оба вскочили,
да к воротам... Прибегают —

и оба застыли.

Перед самым перелазом
младенец повитый —
но не туго; и новенькой
свиткою прикрытый.

Видно, мать запеленала,
хоть лето — укрыла
последнею одежею!...

Глядели, молились
дед да баба. А младенец
словно умоляет:
ручки выпростал, бедняжка,
и к ним простирает,
крохотные... и притихнул,
как будто не плачет,
а чуть хнычет.

«Ну что, Настя? Видишь! Теперь, значит,
мы с тобой не одиноки!
Вот судьба, вот счастье!
Ишь какое, чтоб не сглазить!
Бери ж дитя, Настя,
неси в хату, а я съезжу
сам за кумовьями
в Городище...»

Чудно, право,
бывает меж нами!
Одни сына проклинаят
и прочь выгоняет.
Другой свечечку, сердешный,
потом добывает
и, рыдая, ее ставит
перед образами —
нету детей!.. Чудно, право,
бывает меж нами!

III

Вот три пары на радостях
кумовьев набрали,
и мальчика окрестили,
и Марком назвали.
Растет Марко: старики же
души в нем не чают,
где усадить, где уложить,
хлопочут — не знают.
Год проходит. Растет Марко,
дойная корова

живет в холе, в роскошестве.

Но вот, черноброва,
молода и белолица,
пришла молодица
на тот хутор благодатный
работать проситься.

«Что ж? — дед молвит.— Возьмем, Настя»

«Возьмем, Трофим,— нужно ж,
ведь стары мы и хвораем,
и дитя к тому же.

Хоть подрост Марко немножко,
Но все ж таки надо
заботиться о ребенке».

«Твоя правда, надо;
век, мне данный, слава Богу,
и я прожил, знаю,—
уходился. Ну, так как же,
что возьмешь, родная,
за труды?»

«Да что дадите».

«Э, нет, дочка, что ты!
Это ж плата за работу,
за твою работу.

Говорят: кто не считает,
тот не наживает.

Вот уж разве так, голубка;
ни ты нас не знаешь,
ни мы тебя. А поживешь,
оглядишься в хате,
да тогда и сговоримся
с тобою о плате.
Так ли, дочка?»
«Ну что ж, ладно!»
«Так входи же в хату».

Сговорились. Молодица
день встречает песней;
словно с паном обвенчалась,
купила поместье.
От рассвета до заката
и в поле, и в хате,
и за скотом ходит Ганна;
а вокруг дитяти
так и вьется; в воскресенье
и в будни ребенку,
словно мать, головку моет,
ему рубашонку
каждый божий день меняет.
Вместе с ним катает
повозочки, а уж в праздник

и с рук не спускает.
Старики мои дивятся,
Богу бьют поклоны...
Наймичка же сна не знает,
по ночам со стоном
свою долю проклинаят,
плачет горько, тяжело;
да никто того не знает,
не слышит бедняжки,
кроме Марка маленького.
Да и он не знает,
отчего слезами Ганна
его умывает;
отчего его целует
и молится жарко,
сама не съест и не допьет,
а накормит Марка.
Не знает он. Когда в люльке
порой среди ночи
пробудится, шевельнется,
она сразу вскочит,
крестит его,- баюкает, —
за стеною слышит,
спит спокойно ли ребенок,
как во сне он дышит.

Утром Марко к своей Ганне
ручки простирает —
и наймичку с улыбкою
мамой величает...
Не знает он. Растет себе,
растет, подрастает.

IV

Немало лет уже минуло,
годы немало утекло.
На хутор горе завернуло
и слез немало принесло
Бабусю Настю схоронили
и еле-еле отходили
Трофима-деда. Пронеслось
несчастье злое и уснуло —
на хутор снова благодать
из-за лесов седых вернулась
к Трофиму в хату отдыхать.

Уже Марко чумакует
и осенью не ночует
ни у хаты и не в хате, —

кого-нибудь нужно сватать!
Задумался Трофим старый,
спросить Ганну надо б!
Да к работнице. А Ганна
к королевне б рада
сватов слать: «Марка спросить бы,
ему лучше знать-то».
«Ладно, дочка, Марка спросим,
да и станем сватать».

Расспросили, столковались,
сватов снарядили.
С рушниками к Марку в хату
люди воротились,
с хлебом святым, обмененным.
В жупане богатом
кралечку нашли такую —
хоть гетману сватай,
так не стыдно. Вот какое
выискали диво.
«Спасибо вам! — старик молвит, —
а теперь счастливо
довести нам нужно дело
до конца бы, люди,—
обвенчать их. Да еще вот:

кто ж матерью будет
посаженой? Нет ведь Насти!...»

И заплакал тяжко.

Только наймичка у двери

за косяк, бедняжка,

ухватилась и застыла.

Смолкли в хате люди,

горько наймичка шептала:

«Кто ж матерью будет?..»

V

Время шло. Уж молодицы
каравай месили
на хуторе. Отец старый,
не жалея силы,
с молодницами танцует,
и двор подметает,
да прохожих да проезжих
к себе зазывает,
Варенухой угощает
и на свадьбу просит.
Знай бегаёт — а самого
еле ноги носят.

Во дворе и в хате хохот
и шум небывалый,
и бочонки выкатили
с громом из подвала.
Прибирают, пекут, варят...
Да только чужие.
Где же Ганна? На святое
богомолье в Киев
пошла она. Молил старый.
Просил Марко слезно
матерью быть посаженной.
«Нет, Марко! Как можно!
Я же найми́чка, — неловко
сидеть-величаться
мне на свадьбе... Станут люди
над тобой смеяться.
Пусть Господь вам помогает!
Пойду помолюсь я
святым в Киеве, а там уж
домой ворочуся
в вашу хату, коль примете.
Пока будут силы,
потружусь я...»
С чистым сердцем
крестом осенила

Марка Ганна... Заплакала
и вышла в ворота.
Зашумела свадьба в доме,
и пошла работа
музыкантам и подковкам,
столы поливают
варенухою. А Ганна
бредет, ковыляет.
Пришла в Киев, у мещанки
стала, поселилась,
Нанялась носить ей воду —
денег не хватило,
чтобы отслужить молебен.
Носила, носила,
заработала немного
и в лавре купила
Марку шапочку святую
с Ивана святого,
чтоб голова не болела
у Марка родного.
И колечко от Варвары
невестке достала
и, всем святым поклонившись,
домой возвращалась.

Возвратилась. Катерина
и Марко встречаются
за калиткой, ведут в хату
и за стол сажают;
напоили, накормили,
про путь расспросили,
ей в горнице Катерина
постель постелила.

«За что они меня любят?
За что почитают?
О Боже мой милосердный,
может, они знают...
Может, они догадались...
Нет, не догадались —
они добрые...» И Ганна
тяжко зарыдала.

Трижды речка замерзала
и трижды вскрывалась;
трижды в Киев работницу
Катря провожала,
как мать свою. И в четвертый
ее проводила
до кургана в поле чистом
и Бога молила,
чтоб скорее возвращалась,
а то пусто в хате,
словно мать ушла куда-то,
покинула хату.

В воскресный день после пречистой —
после успенья, дед Трофим,
надевши брыль, в сорочке чистой
сидел у хаты. Перед ним
играл с собакой внучек малый,
А внучка, в кофту нарядясь
в Катрусину, как бы пришла
проведать дедушку. Смеясь,
старик с шалуньей говорил,

как с настоящей молодницей:
«А что же ты без паляницы?
Иль по дороге кто стащил?
Или забыла взять из хаты?
А может, вовсе не пекла?
Э, стыдно как! Ну, хороша ты!..»
Вдруг — глядь! — работница вошла
Во двор. Со стариком внучата
бегут встретить свою Ганну.
«А Марко?» — в тревоге
деда спрашивает Ганна.
«Все еще в дороге».
«А я нынче утомилась,
дошла к вам насилу.
Не хотелось на чужбине
ложиться в могилу!
Только б Марка мне дождаться...
Так тяжело вдруг стало!»
И внукам из узелочка
гостинцы достала —
дукатики, и крестики,
да бусы цветные
Яриночке, да из фольги
образки святые;
Карпу глиняную птичку

и лошадок пару,
и четвертый уже перстень
от святой Варвары
Катерине. Деду свечки
из воска святого;
лишь себе с Марком подарка
Ганна никакого
не принесла, не купила,
денег не хватило,
а работать не могла уж.
«А тут где-то было
полбубличка!»
По кусочку
детям раздавала.

Вошла в хату. Катерина
ей ноги помыла
и полдничать усадила.
Не до того было
старой Ганне.
«Воскресенье
когда?» — вдруг спросила.
«Через день». — «Молебен нужно
справить — помолиться
Николаю-чудотворцу,
вынуть бы частицу, —
что-то долго Марка нету...
Сохрани нас Боже, —
он в пути не заболел ли,
вернуться не может?»
Заплакала работница,
еле-еле встала
из-за стола.
«Катерина!
Не та уж я стала:
состарилась, силы нету
на ноги подняться.

Тяжко, Катря, в чужой хате
смерти дожидаться».
Захворала, несчастная.
Уж и причащали
и соборовали Ганну,
да легче не стало.
Возле хаты Трофим старый
как убитый бродит.
Катерина ж от болящей
на шаг не отходит;
День и ночь она над Ганой
очей не смыкает,
А сычи на крыше ночью
худое вещают.
Ни минуты болящая
покоя не знает,
все спрашивает Катрю:
«Катруся родная!
Что, Марко не воротился?
Ох, если б я знала,
что дождусь его, увижу,
может, легче б стало».

VIII

Идет Марко с чумаками.
Идет, распевает,
не спешит, волов пастися
в степи отпрягает.
Везет Марко Катерине
сукна дорогого.
Шелком шитый пояс красный
для отца седого.
Красный с белою каймою
платочек для Ганны,
А еще ей на очипок
парчи златотканой.
А для деточек сапожки,
фиг и винограду,
а всем вместе им — красного
вина из Царьграда
ведра три везет в бочонке,
доброй икры с Дона, —
всего везет, да не знает,
что творится дома.
Идет Марко, не горюет.
Пришел — слава Богу!

И ворота отворяет,
и молится Богу.
«Слышишь ли ты, Катерина?
Марко воротился!
Беги встречать. Скажи ему,
чтоб поторопился!..
Слава тебе, Христе-боже!
Дождалась насилу!» —
и Отче наш тихо-тихо,
как сквозь сон, твердила.

Старик волов распрягает
и ярма снимает
узорные. А Катруся
Марка обнимает
«Где же Ганна? Не спросил я
про нее ни слова...
Да жива ли?»
«Жива, Марко,
только нездорова,
худо ей. Пойдем скорее,
пока распрягает
отец. Давно тебя, Марко,
Ганна ожидает».

Пошел Марко с Катериной
и стал у порога
испуганный... Ганна шепчет:
«Слава... слава Богу!
Иди, Марко... Слышишь, Катря,
ты выйди, родная:
расспросить его должна я,
поведать, что знаю».

Тихо вышла Катерина,
а Марко к постели
подошел и наклонился.
Ганна молвит ело:
«Марко, в лицо погляди мне,
видишь, какой стала.
Я не Ганна, не наймичка, я...»
И замолчала.
Марко плакал и дивился,
вновь глаза открылись,
грустно, грустно поглядела —
слезы покатались.
«Прости меня. В чужой хате
свой век прожила я...
Прости меня... я, сыночек,
твоя мать родная».

И умолкла...

Марко обмер,

земля содрогнулась.

Очнулся он... к ней — к родимой,

а мать уж заснула!

Кавказ

За горами горы, тучами повиты,
засеяны горем, кровью политы.

Спокон веку Прометея
там орел карает.

Что ни день долбит он ребра,
сердце разбивает.

Разбивает, да не выпьет
крови животворной —
вновь и вновь смеется сердце
и живет упорно.

И душа не гибнет наша,
не слабеет воля,
ненасытный не распашет
на дне моря поля.

Не скует души бессмертной,
не осилит слова,
не охает славы Бога,
вечного, живого.

Не нам с тобой затеять распрю!
Не нам дела твои судить!

Нам только плакать, плакать, плакать
и хлеб насущный замесить
кровавым потом и слезами.
Кат издевается над нами,
а правде — спать и пьяной быть.
Так когда ж она проснется?
И когда ты ляжешь
опочить, усталый Боже,
жить нам дашь когда же?
Верим мы творящей силе
Господа-владыки.
Встанет правда, встанет воля,
и тебя, великий,
будут славить все народы
во веки и веки,
а пока — струятся реки...
Кровавые реки!

За горами горы, тучами повиты,
засеяны горем, кровью политы.
Вот там-то милостивцы мы
отняли у голодной голи
все, что осталось, — вплоть до воли,
и травим... и легло костьми
людей муштрованных немало.

А слез, а крови? Напоить
всех императоров бы стало.
Князей великих утопить
в слезах вдовиц. А слез девичьих,
ночных и тайных слез привычных,
а материнских горьких слез!
А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось,
пылающее море! Слава
борзым, и гончим, и псарям,
и нашим батюшкам-царям
слава!

Слава синим горным кручам,
подо льдами скрытым.
Слава витязям великим,
Богом не забытым.
Вы боритесь — поборете,
Бог вам помогает!
С вами правда, с вами слава
и воля святая!

Чурек и сакля — все твое,
не выпрошенное мольбами,
за хлеб, за жалкое жильё

не окуют тебя цепями.
У нас же... Грамотеи мы,
читаем Господа глаголы!...
И от казармы и тюрьмы
вплоть до высокого престола
мы ходим в золоте — и голы.
К нам в обученье! Мы сочтем,
научим вас, хлеб-соль почем,
мы христиане — храмы, школы,
вся благодать, сам Бог у нас!
Глаза нам только сакля колет:
зачем она стоит у вас,
не нами данная; и то,
что солнце светит нам бесплатно,
не нами сделано! Зато
чурек не кинем вам обратно,
как псам! И хватит. Мы не турки —
мы христиане. В Петербурге
мы малым сыты!... А зато
когда б вы с нами подружились,
то многому бы научились!
У нас же и простор на то, —
одна сибирская равнина...
А тюрем сколько! А солдат!
От молдованина до финна

на всех языках все молчат:
все благоденствуют! У нас
святую Библию читает
святой чернец и поучает,
что царь свиней когда-то пас,
с женой приятеля спознался,
убил его. А как скончался,
так в рай попал! Вот как у нас
пускают в рай! Вы не учены,
святым крестом не просвещены.
Но мы научим вас!... Кради,
рви, забирай —
и прямо в рай,
да и родню всю приводи!
Чего мы только не умеем?
Считаем звезды, гречку сеем,
браним французов. Продаем
или за карточным столом
проигрываем крепостных —
людей крещеных... но простых.
Мы не плантаторы! Не станем
мы краденое покупать,
мы поступаем по закону!

По апостольским заветам,

любите вы брата,
суесловы, лицемеры,
Господом прокляты!
Возлюбили вы не душу —
шкуре братней рады.
И дерете по закону:
дочке на наряды,
на житье сынкам побочным,
жене на браслетки,
а себе на что, не знают
ни жена, ни детки!

За кого же был ты распят,
сын единый Божий,
в искупленье нам? За слово
истины?.. Иль, может,
чтоб глумленье не кончалось?
Так оно и случилось!
Часовни, храмы, да иконы,
и жар свечей, и мирры дым,
и перед образом твоим
неутомимые поклоны.
За кражу, за войну, за кровь
ту братскую, что льют ручьями, —
вот он, даренный палачами,

с пожара краденный покров!...
Просветились! И решаем
свет открыть и этим
показать им солнце правды —
сим незрячим детям!
Все покажем! Только дайтесь
в руки нам, и тут же —
как прочнее строить тюрьмы,
плеть нагайки туже,
кандалы ковать, носить их
в сибирскую стужу, —
все поймете, лишь отдайте
родимые взгорья.
Остальное мы забрали —
и поле и море!

И тебя загнали, друг и брат единый,
Яков мой хороший! Не за Украину —
за ее тирана довелось пролить
столько честной крови. Довелось испить
из царевой чаши царевой отравы!
Друг мой незабвенный, истинный и пра-

ВЫЙ

ты на Украине душою витай,
Вместе с казаками мчись над берегами,

старые курганы в степи озирайт.
Закрепи слезами дружбу с казаками,
меня из неволи в степи поджидай.
А покуда — мои думы,
лютые невзгоды,
буду сеять я. Пусть крепнут
в споре с непогодой.
Украинский тихий ветер
принесет с росой
к дорогому другу думы
братскою слезою.
И когда на них ты взглянешь
и читать их станешь,
вновь курганы, степи, горы
и меня помянешь.

Послание

(И мертвым, и живым, и нерожденным
землякам моим, на Украине и не на
Украине сущим, мое дружеское послание)

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? – Первое послание Иоанна, 4, 20

И темнеет, и светает,
и ночь наступает.
Люд, измученный работой,
и все засыпает.
Лишь я плачу, как проклятый,
дни и ночи сидя
на распутьях многолюдных.
И никто не видит
слез моих! Ослепли, видно,
не слышат — не знают;
святой правдою торгуют,
цепь на цепь меняют,
насмеваются над Богом, —

в ярмо запрягают
человека. Пашут горе,
бедой засевают,
что ж вырастет? Погодите,
увидите всходы!
Опомнитесь! Спohватитесь,
нелюди, юроды!
Поглядите на рай тихий,
на мать-Украину,
полюбите чистым сердцем
и ее руины!
Сбросьте цепи, станьте снова
братьями, а где-то
на чужбине не ищите
того, чего нету
и на небе, а не только
что на чужом поле.
В своем доме — своя правда,
и сила, и воля.
Другой нигде нет Украины,
нигде другого нет Днепра.
А вы? Вы рветесь на чужбину
искать великого добра,
добра святого. Воли! Воли!
И братства братского! Нашли.

Несли, несли с чужого поля
и на Украйну принесли
великих слов запас немалый —
и все тут. Вы кричите всем,
что Бог вас создал не затем,
чтоб вы неправде поклонялись!
Чем были вы, тем и остались,
вы гнетесь. С тех, кто слеп и нем,
дерете с братьев гречкосеев
три шкуры вживе... и опять
спешите к немцам поскорее
за правдою!.. Вот если б взять
и скарб свой вы могли с собою,
добытый кражей с давних пор,
тогда б остался сиротою
Днепр со святой семьею гор!

О, если б вы больше к нам не возвраща-
лись,

а сдохли, забившись в чужие углы!
Не плакали б дети, мать бы не рыдала,
не слышали б вашей на Бога хулы.
Дыханьем воздух вы б не отравляли
в степях, что свободны, чисты и светлы,
и люди б не знали, что вы за орлы.

Они бы с презреньем на вас не кивали.
Опомнитесь! Будьте люди,
иль горе вам будет.
Скоро разорвут оковы
скованные люди.
Суд настанет, грозной речью
грянут Днепр и горы!
Детей ваших кровь польется
в далекое море
сотней рек. Вам ниоткуда
помощи не будет:
брат от брата отречется,
сын про мать забудет;
и дым тучею закроет
солнце перед вами,
и прокляты вы будете
своими сынами!
Умойтесь! Образ Божий
грязью не поганьте,
дурь в голову детям вашим
вбивать перестаньте,
что они — паны по крови:
мужицкое око
им заглянет прямо в душу
глубоко! Глубоко!

Чья на вас надета шкура,
дознаются люди, —
и немудрые премудрых
навеки осудят!

Когда б учились вы, как надо,
и мудрость бы была своя.
А то залезть на небо рады:
«И мы — не мы, и я — не я,
и все-то видел, все-то знаю,
и нет ни ада, и ни рая,
и Бога нет, есть только я.
Да куцый немец с постной рожей,
и больше никого...» — «Добро же!
А кто ж ты сам?»
«Пускай немец
скажет; мы не знаем».
Так-то учитесь вы, в чуждых
странах разъезжая!
Немец скажет: «Вы: монголы!»
«Монголы, монголы!»
Золотого Тамерлана
внуки, только голы!
Немец скажет: «Вы славяне!»
«Славяне? Какие?»

Славных прадедов великих
потомки дрянные!
Изучаете Коллара
изо всей-то силы,
и Шафарика, и Ганку
и в славянофилы
так и претесь. Все языки
славян изучили,
о своем же, о природном,
языке забыли.
Будет время — и свой вспомним,
коль немец укажет
да историю сначала
нашу нам расскажет.
Тут-то мы распетушимся!...
И распетушились
по немецкому указу:
так заговорили,
что не понял даже немец,
учитель великий, —
где уж тут понять народу!
А шуму, а крику!
«И гармония и сила,
музыка — и полно.
А история! Поэма

народности вольной!
Что там Рим? Какие Бруты?
Жалкое явленье...

Те Коклеса, Бруты — мусор
с нашими в сравненье!

У нас воля вырастала,
Днепром умывалась,
под голову горы стлала,
степью укрывалась!»

Кровью она умывалась,
спать ложилась, плача,
на обкраденные трупы,
на тела казачьи!

Еще раз пересмотрите,
прочитайте снова
книгу славы. Да читайте
от слова до слова;
все проверьте: и все титлы,
и все запятые,

и тогда себя спросите:
кто же мы такие?

Чьи мы дети? Кем? За что мы
закованы в путы?..

И увидите, какая
цена вашим Брутам.

Рабы, холопы, грязь Москвы,
варшавский мусор ваши паны, —
и гетманы и атаманы!

Так чем вы чванитесь, вы!
Сыны сердешной Украины!

Что ловко ходите в ярме,
ловчее, чем отцы ходили?!
Не чваньтесь: с вас дерут ремень,
ну, а из них и жир топили.

Иль гордитесь, что казаки
веру защитили?

Что в Синопе, в Трапезунде
галушки варили?

Правда, вам лишь не досталось
ни капли, ни крошки,

А на Сечи мудрый немец
вырастил картошку
и вам продает. Берите,
ешьте на здоровье,
прославляйте Запорожье!

А чьей жаркой кровью
та земля была полита,
что картошку родит, —
все равно вам, лишь бы овощ
росла в огороде!

А хвалитесь, что когда-то
Польшу повалили!
Правда ваша: пала Польша
и вас раздавила!

Так вот как кровь пришлось отцам
лить за Москву и за Варшаву
и дать в наследство сыновьям
и цепи, и былую славу!

Доборолась Украина...
И за что страдает:
хуже ляха свои дети
ее распинают.
Вместо пива праведную
кровь из ребер точат;
просветить хотят сыночки
у матери очи
современными огнями.
Чтобы шла за веком,
шла за немцами слепая
бедная калека.
Что ж, ведите, указуйте
путь! А мать родная
пусть прозреет, сыновей тех

новых узнавая.

Укажите! И не бойтесь —

наградит вас честно

за науку мать родная:

слепота исчезнет

в глазах ваших ненасытных;

увидите славу,

вживе славу ваших дедов

и отцов лукавых.

Так не лгите ж сами себе!

Учитесь, читайте —

и чужому научайтесь,

и свое познайте,

кто про мать свою забудет,

того Бог карает,

того собственные дети

в хату не пускают,

и чужие прогоняют.

Не найдется злому

на всей земле бесконечной

ни ласки, ни дома.

Тяжело мне, только вспомню

печальные были

дедов наших. Что мне сделать,

чтоб о них забыл я?

Я бы отдал за забвеньё
жизни половину.

Такова-то наша слава,
слава Украины.

И вы также прочитайте,
чтоб неспящим снились
все неправды, чтоб могилы —
курганы раскрылись
перед вашими глазами,
чтоб вы расспросили
мучеников: где, какого
и за что убили?

Обнимите ж меньших братьев,
как братья родные, —
мать пусть ваша улыбнется
за века впервые!

Всех детей своих обнимет
твердыми руками
и деточек поцелует
вольными устами,
и забудется позора
давняя година,
оживет иная слава,
слава Украины,
и свет ясный невечерний

тихо засияет...

Обнимитесь, братья мои,
прошу, умоляю!

Холодный Яр

Каждому свои напасти,
да и мне нет счастья,
хоть не свои, а пришлые,
но все же напасти.
К чему, скажем, вспоминать бы,
что давно минуло,
будить старое, бывшее!
Ладно, что заснуло,
взять хоть этот Яр; ведь ныне
к дикому оврагу
даже тропки не осталось;
кажется, и шагу
там никто вовек не делал,
а вспомнишь — путь старейший
от монастыря Матрены
до страшного Яра.
В Яру этом гайдамаки
лагерем стояли,
самопалы проверяли,
копья заостряли.
Шли туда по всем дорогам,

будто с креста сняты,
отец с сыном и брат с братом
для страшной расплаты.
Чтобы сгинул лях жестокий
от того удара.

Где же ты, идущий к Яру
путь широкий, старый?
Сам зарос ты лесом темным
или засадили
палачи другие, чтобы
люди не ходили
за советом, что им делать
с добрыми панами,
людоедами — со злыми
новыми врагами?

Вам не скрыть пути!
Над Яром Зализняк витает
и на Умань взор бросает,
Гонту поджидает.

Вы не прячьте, не топчите
святого закона,
не зовите преподобным
лютого Нерона.

Вы святой войны царевой
не кичитесь славой.

Ведь вы сами не знаете
царских дел кровавых.
А кричите, что кладете
и душу и шкуру
за отечество!.. Ей-Богу,
овечья натура;
дурень шею подставляет,
сам за что не зная,
да еще бесчестит Гонту —
вот ведь мразь какая!
«Гайдамаки — не воины,
разбойники, воры,
пятно в нашей истории...»
Врете, людоморы!
За святую правду-волю
разбойник не встанет,
не раскует народ темный,
что вами обманут
и закован; не зарежет
лукавого сына;
не отдаст живое сердце
он за Украину!
Нет! Вы сами разбойники,
хищные вороны!
По какому праведному,

святому закону
и народом замученным,
и землей, всем данной,
торгуете? Берегитесь:
грянет долгожданный
Грозный суд!.. Детей дурачьте,
темный люд убогий,
самим себе, чужим лгите,
но не лгите Богу.
Знайте: в светлый день над вами
разразится кара,
снова запыхает пламя
Холодного Яра.

Псалмы Давида

1

Не явится муж блаженный
в совет нечестивых
и не встанет на путь злого,
с ним не вспашет нивы.
По закону господнему
его дух и воля
мужаются, и станет он —
как на добром поле
над водою окрепшее
древо зеленеет,
все в плодах. Вот так и муж тот
в добром своем зреет.
От лукавых, нечестивых
и след исчезает,
как от пепла, что по свету
ветер развеивает.
И не встанут с праведными
злые из могилы.

Дела добрых возродятся,
дела злых погибнут.

12

Ты ли меня, Боже милый,
навек забываешь?
От меня свой взор отводишь,
меня покидаешь?
Доколь буду мучить душу,
в тоске изнывая?
Доколь будет враг мой лютый,
на меня взирая,
усмехаться?... Спаси душу
и сердце живое,
да не скажет хитрый недруг:
«Одолел его я».
И все злые посмеются,
коль упаду в руки,
в руки вражьи. Спаси меня
от смертельной муки,
спаси меня, помолюся
и воспою снова
твои блага чистым сердцем,

Про твою, всеильный Боже,
мы слышали славу,
нам рассказывают деды
о грозном, кровавом
давнем веке, как своею
твёрдою рукою
развязал ты наши руки
и покрыл землю
трупы врагов. И силу
твою восхвалили
твои люди, и в покое,
в достатке зажили,
славя Господа!.. А ныне
покрыл еси снова
Ты людей своих позором, —
и наш недруг новый
на заклятие нас гонит,
как овец!.. Без платы
и без цены ты нас отдал
недругам проклятым;

покинул нас на смех людям,
в насмешку соседям,
покинул нас, яко в притчу
неразумным людям.
И кивают, усмехаясь,
на нас головами,
и каждый день перед нами —
стыд наш перед нами.
Обмануты, замучены,
в путях умираем.
Не молимся чужим богам,
а к тебе взываем:
«Отведи от нас, спаситель,
вражью руку злую!
Силу первую разбил ты,
разбей и вторую,
что еще страшней!.. Встань, Боже,
спать тебе доколе,
от слез наших отречься,
забывать о горе!
Смирилася душа наша,
жить тяжело в оковах!
Помоги восстать нам, Боже,
на деспота снова.

Речь свою ведет безумный,
Бога отрицая,
в беззаконье он скудеет,
благости не зная.
А Бог смотрит: есть ли еще
взыскующий Бога?
Нет творящего святое,
нет сердца святого!
Когда они, покрытые
грехами, прозреют?
Едят людей вместо хлеба,
веры не имеют.
Там боятся, пугаются,
где бед и не будет.
Так самих себя боятся
лукавые люди.
Кто ж пошлет нам спасение,
вернет правду-долю?
Бог когда-нибудь поможет,
разобьет неволю.
Восхвалим же тебя, Боже,
дыханием всяким;

Возрадуется Израиль
и святой Иаков.

53

Боже, спаси, суди меня
ты по своей воле.

Молюсь, Господи, внуши им
уст моих глаголы.

Топчет душу мою сила
черная, чужая,

не зрит Бога над собою,
что творит — не знает.

А Господь мне помогает
и обороняет,

людям злым взамен неправды
правду возвращает.

Помолюсь тебе я, Боже,
сердцем одиноким

и взгляну на силу злую
незлым моим оком.

Меж царями-судиями
на вече великом,
стал судьей земным владыкам
небесный владыка:
«Доколь вам грабить и лукавить
доколе кровь вам проливать
людей убогих? А богатым
судом неправым помогать?
Вдове убогой помогите
и прогоните темноту
от сырых, тихих; сироту
не осудите, защитите
от злобы жадных!» Не хотят
прозреть, развеять тьму неволи
и всеу Господа глаголы,
и всеу плачет вся земля.
Цари, рабы — все равные
сыны перед Богом;
вы умрете, князь умрет ваш
и ваш раб убогий.
Встань же, Боже, суди землю
и судей лукавых.

На всем свете твоя правда,
и воля, и слава.

93

Господь Бог лихих карает —
душа моя знает.

Встань же, Боже, твою славу
гордый оскверняет.

Вознесись же над землею
высоко, высоко,
закрой славою свою
незрячее око.

Доколь злобой сонм лукавых,

Господи, доколе —
будет хвастать? Твои люди
во тьме и неволе

закованы... Добро твое
в крови потопили,
зарезали прохожего,
вдову задушили

и сказали: «Не зрит Господь,
ниже сие знает».

Вразумитесь, немудрые:

кто мир озирает,
тот и сердце ваше знает,
и род ваш лукавый.
Дивитесь делам его,
его вечной славе.
Благо тому, кого Господь
карает меж нами,
не пускает, пока злому
выроется яма.
Господь своих людей любит,
любит, не оставит,
ждет, пока святая правда
перед ними встанет.
Кто б меня от злых, лукавых
спас, обороняя?
Если бы не Божья помощь,
то душа б живая
во тьме ада потонула,
проклятая светом.
Ты мне, Боже, помогаешь
жить на свете этом.
Ты радуешь мою душу
и сердце врачуешь;
и пребудет твоя воля
и труд твой не все.

Свяжут праведную душу
и добро осудят.
А мне Господь убежищем,
заступник он будет,
И воздаст им за дела их,
на них громом грянет,
их погубит, и их слава
их позором станет.

132

Есть ли что лучше, краше в мире,
чем вместе трудиться,
с братом добрым добро править
и добром делиться?
Словно миро, что пахучей,
чистою росой
на бороду Аарона
стекает порою;
иль на ризы драгоценной
шитые узоры;
или росы ермонские,
нам радуя взоры,
ниспадают на святые

Сионские горы,
творя добро разным тварям,
и земле, и людям, —
так и братьев своих добрых
Господь не забудет,
воцарится в доме тихом,
в семье дружной, светлой,
и пошлет им счастье-долю
на многие лета.

136

На потоках Вавилонских,
под вербами в поле,
сидели мы плакали
в далекой неволе,
и на вербы повесили
органы глухие,
и, смеясь, нам говорили
едомляне злые:
«Спойте песню вашу, может,
мы тоже заплачем,
или же вы нашу спойте,
невольники наши».

Какую же будем петь мы?
Здесь, на чужом поле,
не поется веселая
в далекой неволе.
Если я забуду стогны
Иерусалима,
забвен буду, покинутый,
рабом на чужбине.
И язык мой онемееет,
высохнет, лукавый,
если помянуть забуду
тебя, наша слава!
И Господь наш вас помянет,
едомские дети,
как кричали вы: «Громите!
Жгите! В прах развейте!
Сион святой!» Вавилона
смердная блудница!
Тот блаженен, кто заплатит
за твою темницу!
Блажен, блажен! Тебя, злую,
в радости застанет
и ударит детей твоих
о холодный камень!

Псалом новый Господу мы
и новую славу
воспоем честным собором,
сердцем нелукавым;
во псалтыри и тимпаны
грянем, воспевая,
как карает Бог неправых,
правым помогая.
Преподобные во славе
и на тихих ложах
радуются, славословят,
хвалят имя Божье.
И мечи, мечи святые
им вложены в руки
для отмщения неверным
и людям в науку.
Закуют царей кровавых
в железные путы,
им, прославленным, цепями
крепко руки скрутят.
И осудят губителей
судом своим правым,

и навеки встанет слава,
преподобным слава.

Лилея

«За что меня, как росла я,
люди не любили?
За что меня, как выросла,
бедную, убили?
За что они теперь меня
в дворцах привечают,
царевною называют,
очей не спускают
с красоты моей? Дивятся,
меня ублажают!
Брат мой, цвет мой королевский,
ответь, умоляю!»
«Я, сестра моя, не знаю», —
и, сестру жалея,
королевский цвет склонился;
наклонился, рдея,
он к белому, поникшему
личичу лилеи.
И заплакала Лилея
росою-слезою...
Заплакала и сказала:

«Братец мой! С тобою
мы давно друг друга любим,
а не рассказала,
как была я человеком,
сколько я страдала...
Мать моя... о чем она,
о чем так скорбела,
на меня, на свою дочку,
смотрела, смотрела
и плакала... Я не знаю,
мой любимый братец,
кто принес ей столько горя?
Я была дитятей,
я играла, забавлялась,
а она все вяла;
да нашего злого пана
кляла-проклинала.
И умерла... А меня пан
воспитал, проклятый.
Я росла и подрастала
в хоромах, в палатах
и не знала, что я дочка,
дочь его родная.
Пан уехал в край далекий,
меня покидая.

И прокляли его люди,
хоромы спалили...
А меня, за что — не знаю,
убить не убили,
только длинные мне косы
остригли, накрыли
меня, стриженую, тряпкой, —
еще и смеялись;
а евреи и те даже
на меня плевали.
Так-то вот на свете, брат мой,
со мной поступали.
Молодого, короткого
мне дожить не дали
люди веку. Умерла я
зимою под тыном,
а весною расцвела я
цветком при долине,
цветком белым, как снег белым!
Лес развеселила.
Зимой люди... о, Боже мой!
В хату не пустили.
А весною, словно диву,
мне они дивились.
Я девушек украшала,

и для них я стала
Лилею-снегоцветом;
и я расцветала
и по роцам, и в теплицах,
и по светлым залам.
Скажи ты мне, милый братец,
королевский цветик,
зачем же Бог меня сделал
цветком на сем свете?
Чтоб людей я веселила,
тех, что погубили
и меня и мать?.. Всещедрый,
святой Боже милый!..»
И заплакала лилея,
и, ее жалея,
королевский цвет склонился;
наклонился, рдея,
он к белому, поникшему
личику лилеи.

Иржавец

Было время, добывали
себе шведы славу,
убегали с Мазепою
за Днестр из Полтавы,
а за ними Гордиенко...
Раньше бы учиться,
как повыкосить пшеницу,
к Полтаве пробиться.
Выкосили б, если б дружны
меж собою были,
да с фастовским полковником
гетмана сдружили, —
у Петра тогда б, у свата,
копий не забыли
и, с Хортицы убегая,
силу б не сгубили.
Их не предал бы Прилуцкий
полковник поганый...
Не плакала б мать Божья
в Крыму об Украине.
Когда бежали день и ночь,

когда бросали запорожцы
родную мать-Сечь и прочь
спешили, только мать Божью
с собою взяли, и пошли,
и в Крым к татарам принесли,
к другому горе-Запорожью.
Туча черная, густая
белую закрыла.
Пановать над казаками
орда порешила.
Хоть позволил хан селиться
им на голом поле,
только церковь запорожцам
строить не позволил.
И поставили икону
в шатре одиноком,
и украдкою молились...

Край ты мой далекий!
Роскошно цветущий, прекрасный, бога-
тый!

Кто только не мучил тебя? Если: взять
да вспомнить злодеяния любого магната
то можно и пекло само испугать.
Последний приказчик большого вельможи

и Данта жестокостью б мог поразить.
И все, мол, все беды — от Бога! О, Боже
зачем тебе нужно невинных губить?
Замучены дети Украины сердешной.
За что они гибнут и в чем они грешны?
И ты ль осудил их оковы носить?

Кобзари про войны пели,
битвы и пожары,
про тяжкое лихолетье,
про лютые кары,
что терпели мы от ляхов —
обо всем пропели.
А что было после шведов!...
Словно онемели
с перепугу горемыки,
слепые умолкли.
Так Петровы воеводы
рвали нас, что волки...
Издали заporожцы
ухом уловили,
как в Глухове зазвонили,
как пушки палили;
как людей погнали строить
город на трясине.

Как заплакала седая
мать о милом сыне,
как сыночки на Орели
линию копали,
как в холодном финском крае
в снегу погибали.

Услыхали запорожцы
в Крыму на чужбине,
что и гетманщина гинет,
неповинно гинет.

Услыхали горемыки,
да только молчали,
потому что рты им крепко
мурзы завязали.

Убивались, бедняги,
плакали, и с ними
заплакала мать Божья
слезами святыми.

Заплакала пресвятая,
словно мать над сыном.

Бог увидел эти муки,
пречистые муки!

Отдал он Петра-злодея
лютой смерти в руки.

Воротились запорожцы,

принесли чудесный,
чудотворный старый образ
царицы небесной.
И в Иржавце ту икону
поставили в храме.
И доньне она плачет
там над казаками.

(Когда мы были казаками)

Когда мы были казаками,
еще до унии, — тогда
как весело текли года!
Поляков звали мы друзьями.
Гордились вольными степями;
в садах, как лилии, цвели
девчата, пели и любили,
сынами матери гордились,
сынами вольными... Росли,
росли сыны и веселили
печальной старости лета,
покуда с именем Христа
ксендзы, придя, не подпалили
наш край, пока не потекли
моря большие слез и крови...
Сирот же именем Христовым
страданьям лютым обрекли...
Поникли головы казачьи.
Как будто смятая трава,
Украина плачет, стонет-плачет!
Летит на землю голова

за головой. Палач лютует,
а ксендз безумным языком
кричит: Те Deum! Аллилуйя!..
Вот так, поляк, и друг и брат мой!
Жестокие ксендзы, магнаты
нас разлучили, развели, —
мы до сих пор бы рядом шли.
Дай казаку ты руку снова
и сердце чистое отдай!
И снова именем Христовым
мы обновим наш тихий рай.

Чернец

На киевском на Подоле
так бывало... и уж боле
этого не будет. Было,
было это все, да сплыло,
позабылось... А я, братцы,
буду все-таки стараться
с тем, что было, повидаться,
буду грусти предаваться.

На киевском на Подоле
казацкая наша воля,
без холопа и без пана
ни пред кем не клонит стана.
Стелет бархатом дороги,
вытирает шелком ноги,
сама собой управляет
и пути не уступает.

На киевском на Подоле
казаки гуляют,
словно воду, ушатами

вино разливают.
Погреба с вином, с медами
откупили всюду
и устроили гулянье
киевскому люду.

А музыка гремит, стонет,
даже мертвых тронет.
Из окошек на веселье
бурса чубы клонит.
Нету голой школе воли,
а то б удружила...
Кого же это с музыкою
толпа окружила?

В штанах атласных ярко-красных,
мотню по пыли волоча,
идет казак. Как вы ужасны,
ох, годы! годы! Сгоряча
старик ударил каблуками,
да так, что пыль взвилась! Вот так!
Еще и подпевал казак:

«По дороге рак, рак,
пускай будет так, так,

если б нашим молодцам
сеять один мак, мак!
Бей землю каблуками,
дай ходу каблукам,
достанется и носкам.
Чтоб за теми каблуками
пыль ходила облаками,
бей землю каблуками!
Дай ходу каблукам,
достанется и носкам!»
Так до Межигорского Спаса
шел вприсядку сивый,
а за ним и казачество,
и весь святой Киев.
До ворот дошел, танцуя,
крикнул: «Пугу! Пугу!
Принимайте, черноризцы,
товарища с Луга!»
Монастырские ворота
перед ним открылись,
потом снова затворились,
навек затворились.
Кто же этот поседелый
в битвах да в несчастьях?
Семен Палий, казак, вздумал

с волей попроситься.

Ой, высоко солнце всходит,
низенько заходит,
в длинной рясе седой чернец
по кельи бродит.

Идет, бредет он в Вышгород
ближнюю дорогой,
чтобы посмотреть на Киев,
погрустить немного,
К Звонковой идет кринице,
чтоб воды напиться,
жизнь свою он вспоминает
в яру над криницей.

И опять идет он в келью,
под немые своды,
перебирать веселые
молодые годы.

Священное писание
громко он читает,
а мыслями чернец седой
далеко летает.

И тихнут Божьи слова,
и голос Сечи снова зычен,

свобода давняя жива;
и старый гетман, как сова,
глядит в глаза.

Монаха кличут
музыка, танцы и Бердичев...

Оковы лязгают... Москва...

Леса, снега и Енисей...

И покатались из очей
на рясу слезы... Бей поклоны!

Плоть стариковскую смирай,
писанье божье читай

под монастырские трезвоня,
а сердцу воли не давай.

Оно тебя в Сибирь водило,
весь век тебя в обман вводило.

Сдави ж его, не вспоминай
своей Борзны и Фастовщины.

Все смертны, и твоя кончина
близка, тебя забудет свет...

И мыслям грустным он в ответ
заплакал, книгу отодвинул.

Ходил по кельи, ходил
и тяжко на скамью склонился:

«Зачем же я на свет родился,
свою Украину любил?»

Уж колокол завыл бессонный,
зовя к заутрене святой.

И встал чернец, заслышав звоны,
надел клобук, взял посох свой...

И в храм побрел он — бить поклоны,
молиться за свой край родной.

Платок

Иль на то господня воля?
Иль такая ее доля?

Росла внаймах, век трудилась,
сиротину полюбила.

Был бедняк, как голубь, с нею,
с бесталанною своею.

От зорюшки до зорюшки
сидят себе у вдовушки,
сидят себе рассуждают,
пречистую поджидают.

Дождалися... Из Чигрина
по всей славной Украине
колокола реветь стали,
чтобы все коней седлали,
чтобы сабельки точили
да на свадьбу выходили,
на веселое гулянье,
на кровавое свиданье.

В воскресеньице да ранехонько
горны-трубы заиграли,

в поход, в дорогу славных компанейцев
до рассвета провожали.

Провожала вдова своего сына
на далекую чужбину.

Провожала сестра своего брата,
а сироту сиротина

Провожала: пить коню давала
до денницы из криницы.

Выносила сбрую, саблю золотую
и тяжелую рушницу.

Провожала три мили, три поля,
прощалась у раздолья.

Вышитый шелком платочек дарила,
чтоб не позабыл, говорила.

Ой, платок ты, платочек мой,
узорами шитый!

Вся и слава казацкая —
в седельце покрытом.

Возвращалась, тосковала,
на дорогу взгляд бросала,
наряжалась, прибиралась,
каждый день все дожидалась.
В воскресенье раным-рано

поджидала у кургана.

Год прошел, другой и третий —
и летят с чужбины
преславные компанейцы,
дети Украины.

Идет войско и другое,
а за третьим вскоре —
не смотри, не жди, бедняга! —
Везут тебе горе:
гроб казачий расписанный,
китайкой покрытый,
а за гробом с старшиною
идет знаменитый
сам полковник в черной свитке,
характерник с Сечи,
за ним идут есаулы.
Идут они, плачут,
несут паны есаулы
казацкую сбрую:
литой панцирь порубленный,
саблю золотую,
три тяжелые рушницы
и три самопала...
На оружье... казацкая

кровь позасыхала.
Ведут коня вороного,
разбиты копыта...
И седельце казацкое
платочком покрыто.

Цари

Сестрица бога Аполлона!
Когда б случайно вы хоть раз,
старушка, навестили нас
и, как бывало во дни оны,
возвысили б свой божий глас
до оды пышно-величавой,
Я тоже начал бы, пожалуй,
особ высоких воспевать.
А то, уж если вам сказать
чистосердечно, по-простому,
мне надоели мужики,
покрытки все и барчуки;
хотелось бы мне сбить оскому
на главах батюшек-царей,
на всех помазанниках божьих...
Да не решусь, а коль поможешь,
покажешь мне, как тех гусей
оципывать, то я, быть может,
за чуб схвачу рукой своей
святопомазанников этих.
Покиньте же святой Парнас,

побудьте здесь, на грешном свете,
и старенький свой божий глас
возвысьте, тетенька. И складно
и ладно, ну хотя бы раз,
хоть на минуту напоказ
всех венценосцев выставляя
и ничего не пропуская,
о них расскажем. В добрый час
начнем, советчица родная!

I

Безлюдно и тихо в Иерусалиме.
Врата на запоре, как будто в дома
Давидова града, что богом хранимы,
чума ворвалася. Но то не чума;
еще пострашнее лихая година
сошла на Израиль: царева война!
Собравши немощные силы,
князя царевы, весь народ,
закрывши в городе кивот,
на поле брани выходили,
на поле бились, сиротили
своих покинутых детей.



А в городе молодые вдовы
в светлицах плачут, чернобровы,
от малых чад своих очей
не отведут они. Пророка
и ненавистного царя,
клянут Давида-главаря.
А он, уперши руки в боки,
по кровле кедровых палат
в одеждах пурпурных гуляет,
как кот на сало, взор бросает

на Гурия-соседа сад.
Там под деревьями в прохладе,
в своем веселом вертограде,
Вирсавия купалася,
как Ева средь рая,
Гурия жена, царева
раба молодая.
Купалася тихо-смирно,
грудь белую мыла,
своего царя святого
ловко окрутила.

На улице смерклось. И, тьмою объятый,
тоскует и дремлет Иерусалим.
Давид, как безумный, царские палаты
меряет шагами... Властитель проклятый
себе говорит: «Я... Нет, мы повелим!
Я царь над всем народом божьим!
И сам я бог моей земли!
Я — все!..» Давиду позже
рабы трапезу принесли,
внесли сикер — питье хмельное,
и царь сказал, чтобы в покои
рабы рабыню привели
к нему. И как бы ненароком

к святейшему царю-пророку
сама Вирсавия пришла,
откушала, питья хмельного
с пророком выпила, пошла,
чтоб после ужина такого
прилечь с царем. А Гурий спал.
Ему, бедняге, и не снилось,
что втайне от него творилось,
что из дому Давид украл
не золото, не серебро,
а лучшее его добро —
его Вирсавию украл.
А чтоб о том он не проведал,
Давид-пророк убил соседа.
И после перед целым светом
пролил слезу, обворожил
псалмом седого Анафана...
И, вновь веселый, снова пьяный,
с своей рабыней закутил.

Давид, святой пророк и царь,
не слишком был благочестивый.
Дочь у него была Фамарь
и сын Амон. Что тут за диво?
Бывает так и у святых,
да все ж не так, как у простых,
а вот как. Сын Амон счастливый,
красивый первенец царя,
хворает, видно, слег не зря.
Давид и стонет и рыдает,
в печали ризу раздирает
и сыплет пепел на главу.
«Я без тебя не проживу,
мой сын, возлюбленное чадо,
моя единая отрада!
Умрешь — я солнца не узрю,
я без тебя умру! Умру!»
И царь спешит, рыдая, к сыну,
хоть ковыляет, а бежит,
а сын его, как бык здоровый,
во храмине своей кедровой
лежит, — и трудно, а лежит.

В душе смеется, а вздыхает,
отца, рыдая, умоляет,
чтобы сестра Фамарь пришла.
«Молю отца и государя!
Вели сестре моей Фамари,
чтоб мне лепешек испекла,
да чтоб сама и принесла.
А я, вкусивши их, восстану
с одра недуга». Утром рано
Фамарь спекла и принесла
опреснок брату. Он за руку
ее хватает, и ведет,
и в темной храмине кладет
сестру на ложе. В горе руки
она ломает, из груди
крик вырвался: «О, пощади,
Амон, о брат мой, брат лукавый!
Мой брат единственный! Я! Я!
Сестра родимая твоя!
Где от дурной я скроюсь славы
И от стыда? Такого брата
и Бог и люди проклянут!..»
Не помогло ничуть, — куда там!
Так припеваючи живут
царевичи на свете,

запоминайте, дети.

III

И дожил царь Давид на свете
до многолетия.

Одрях совсем; и покрывали
и грели ризами его,
но ими все ж не согревали
рабы владыку своего.

Но отроки не оплошали
(они натуру волчью знали):
чтоб греть его, девиц нашли,
царевен лучше красотою,
и к старику их привели —
да греют кровью молодою
они царя. И разошлись,
замкнувши двери за собою.

Облизнувшись, кот старый
слюни распускает
и к одной сунамитянке
лапы простирает.
А она, себе на горе,

лучшая меж ними,
меж подругами, как будто
лилия в долине
меж цветами. Так вот она
собой согревала
царя-старца; а девицы
меж собой играли
голенькие. Как там она
грела, я не знаю,
знаю только, что царь грелся
и... и «не познаю».

IV

Перед дворцом своим гуляет
веселый старый Рогволод.
Дружина, отроки, народ
во злате вокруг него сияют.
У князя праздник: ожидает
литвина — князя-жениха,
что сватается за Рогнеду.

Перед богами Лель и Лад
огонь Рогнеда развела,

драгим елеем полила
и сыпала на пламя ладан.
Вокруг, валькириям подобно,
танцуют, тешатся подруги.
И поют себе:

«Гой, гоя, гоя!
Новые покои
мы украсить рады
гостям на усладу».

Встает густая туча пыли
за Полоцком. И стар и млад
навстречу князю поспешили,
бояре с челядью спешат.
Сама Рогнеда с Рогволодом
пошла с подругами, с народом.

Не литовский князь ожидаемый,
сердцем избранный, хоть неведомый,
а из Киева туром-буйволом
идет веприщем за Рогнедою
Володимир-князь с киевлянами.

Пришли, и город обступили

кругом, и город подпалили.
Владимир-князь перед народом
убил седого Рогволода,
поя народ, княжну поя,
отыде в волости своя,
отыде с шумом. И растли ю,
Рогнеду эту молодую,
и прогони ю, и княжна
блуждает по миру одна...
Кто ей поможет... Вот какие
те венценосные, святые
князья-цари!

Чтоб палачи их покарали,
царей, проклятых палачей!
Возни с царями, чтоб вы знали,
как дурень ходишь вокруг царей,
как подступиться к ним — не знаешь.
И все никак не угадаешь,
что делать с поганью? Скажи,
сестрица бога Аполлона,
открой, голубка, укажи,
как пресмыкаться перед троном.
Тебе, коль денег припасу,
монисто к пасхе поднесу.
Запишемся с тобой в лакеи,
наденем новые ливреи,
да и начнем царей любить.
Карандаши мне жаль тупить.
Где воли нет для человека,
не будет там добра вовеки.
Зачем себя в обман вводить?
Пойдем в селения — там люди,
а там, где люди,— славно будет,
там будем жить, людей любить,

святого Господа хвалить.

Дочка ктитора

То было в давние года,
когда борцы везде ходили
и девушек с ума сводили,
всех изводили, хлопцев били
и верховодили всегда, —
точь-в-точь гусары на постое;
в правленье гетманов святое
то было — в давние года.

Настали праздники в селе.
В корчме, усевшись на столе,
слепые лирники играли,
а за танец брали грош.
Там пыли облака вставали,
там девушки плясали
и парни... «Все одно и то ж,
другой начнем!» — «Хорош и этот!»
И снова лиры залились,
поют и пляшут щеголихи,
а парни, подбоченясь лихо,
вприсядку понеслись.

Стоит красавец в серой свите, —
ну, право, равных нет Никите!
Красавец малый, да байстрюк,
байстрюк, да и бедняк при этом.
Один, забытый целым светом,
стоит в корчме, как тот...
А плечи потолку подпора.
Он оторвать не может взора
от дочки ктитора... Она
в цветы и ленты убрана,
как та картинка... Погодите, —
не на него ль она глядит?
Иль это кажется? Горит,
горит Никита в серой свите!
Грошик вынимает
и на медный, на последний
танец нанимает,
ту богачку, ту гордячку
плясать приглашает!
«Прочь отсюда, прочь, приبلуда! —
И захохотала
Дочка ктитора. — Батрачек
для тебя не стало?»
Осрамила, да при людях
гордячка Никиту,

осрамила, оттого что
хлопец носит свиту!
Дочка ктитора, ты будешь
наказана строго
за насмешку!..
Где ж Никита?
Далекой дорогой
он ушел. Никто не ведал,
что с хлопцем случилось...
Только ктиторова дочка
покоя лишилась.

Домой в слезах она пошла,
и спать в слезах она легла.
Есть не хотела... Сна не знала,
какой легла, такой и встала,
как в одури! Что делать ей?
Как быть? Все мысли — о Никите,
а тот, как сыч нахохлясь, в свите
стоит все время перед ней!
Вот наважденье! Оказалось,
что над неровней ты смеялась
в недобрый час. И стало жаль
тебе его... Тоска, печаль
и стыд — всё душу обступило.

Ты зарыдала. Отчего?
Да оттого, что полюбила
Никиту бедного того!
Диво дивное на свете
с тем сердцем творится.
Кажется, вчера чуралось, —
сегодня томится.
Так томится, — на край света,
только прикажите,
А пошло бы!.. Вот на дочку
Ктитора взгляните:
Жить не хочет. Пусть бы в воду,
но только к Никите!

Берегитесь над неровней,
девушки смеяться,
чтоб и вам, как той гордячке,
с бедой не спознаться!

Она былинкой сохла, вяла,
отца и мать перепугала, —
на богомолье повезли,
святые травы ей давали,
и все-таки не помогли!
Взбиралась на курган в печали, —

дорожку ноги протоптали, —
глядела вдаль, ждала, ждала...
Травой дорожка поросла;
слегла красавица в бессилье...
Вот что насмешки натворили!
Он же канул, провалился;
может, где и бродит, —
нету вести. Год за годом,
три года проходит.

На четвертый год настали
снова праздники в селе.
Снова, сидя на столе,
лирники в корчме играли.
По грошику брали
и так же играли,
на радость всем, как и когда-то.
И так же девушки плясали,
как и когда-то.
Вдруг в богатом жупане,
в синей шапке, в красных,
как ягоды, штанах атласных,
вприсядку залетел казак
да припевал еще вот так:
«Да спасибо бабушке,

да спасибо матушке,
что добыли нас.
А как добывали,
жито рассыпали
в ночи на печи!»

«Эй, водки! Меду! Два стакана!
Где сотский? Нет ли атамана?
Начнем бороться! Погань, падаль,
борца сегодня вам не надо ль?
Борец пред вами!»

Вот не ждали!

И много дней без перерыва,
как злой болячке, как нарыву,
борцу всем миром угождали.
А был разборчив он, — почище

и паныча... Откуда зло
взялось такое? Все село
ему не наготовит пищи!

А он поет, гуляет, пьет
да хлопцам жару задает
пред девушками. Вот проклятый,
он головы вскружил им всем:
Такой хороший и богатый!
Уже не борется ни с кем,

а просто так гуляет
да садик ктитора нередко
ночами посещает.

А там красавица встречает
и припеваает, прибавляет:

«То не ты ли Никита?
Не твоя ль эта свита?»

Тот он, тот, кого на смех
поднимала ты при всех!

А теперь он стал желанным,
его поджидаешь,
с ним обходишься, как с паном,
во всем угождаешь.

И не день, не два, как пану,
ему угождала,
и не день, не два Никиту
в саду поджидала!

Дождалась ты, поджидая:
нагрянуло горе, —
не очнулась! Дни проходят,
месяц минул вскорее.

И лето минуло, и осень,
семь месяцев прошло, и восемь,
пришел девятый за восьмым, —
пришел он с горюшком твоим!

В садик бедная выходит...
Там, где верба гнется,
есть колодец. Не напиться
воды из колодца, —
нет, в тревоге ищет места,
где бы хоть немного
и поплакать и подумать:
будет ли подмога?
Как ей спрятаться от срама?
Где ее дорога?

Зимним вечером, босая
и в одной рубашке,
дочка ктитора выходит:
мальчик у бедняжки.
То приблизится к колодцу,
то вновь отступает.
За калиной — взгляд змеиный:
байстрюк поджидает!
Горемыка на колоду
положила сына —
и бежать... Кусты калины
Никита раздвинул,
как щенка, дитя родное

в колодец он кинул!
А сам пошел он к сотскому,
распевая звонко,
сказать, чтоб шли отыскивать
всем миром ребенка!

Рано-рано в воскресенье
собиралось все селенье.
Ведра в воду опускали
и ребеночка искали.
Воду ведрами тащили, —
отыскали в темном иле!
Горемычную в оковы
заковали в день суровый.
Прегрешенья отпустили,
мать, отца стыдом стыдили
и блудницу осудили,
а потом ее, живую,
вместе с сыном закопали
в землю темную, сырую!
Столб высокий воздвигали,
чтобы все о ней узнали,
детям правду рассказали, —
девушки урок получают,
если мать с отцом не учат.

Борца в селе не стало больше.
А люди повстречались в Польше
с каким-то панычом. Спросил:
«Как дочке ктитора живется,
всё ль над неровнею смеется?»
То он! Господь его казнил
за грех, свершенный у колодца,
не смертью, нет! Он будет жить,
и сатаною-человеком
по свету белому бродить,
и девушек с ума сводить
вовеки.

(Микита) Швачка

«Ой, не пьется горилочка,
не пьются меды,
как бы шинкарям проклятым
не нажить беды!
Ой, не пьется нынче пиво,
а я буду пить.
Не будете, вражьи паны,
на Украине жить.
Соберемся в воскресенье,
на Фастов нагрянем:
шляхту в белые рубахи
одевать мы станем.
Не в белые, а в красные...
Гулять не устанем.
Своего отца родного,
старого помянем,
полковника фастовского
славного Семена.
Пойдем, хлопцы!
Вам со мною
не будет урона».

У Перепяти поспали,
до света вставали
и в Фастове утром рано
казаки гуляли.

«Приди к нам из Межигорья,
Палий, поскорее,
погляди-ка ты на Швачку,
на его затеи!»

В Фастове затеял дело, —
есть такие вести, —
пало шинкарей и шляхты
не сто и не двести,
а тысячи. И площади
багровыми стали.

И все шинки, все костелы,
как свечи, пылали.

В самом замке небольшую
церковку святую
не сожгли. В той церкви Швачка
поет *аллилуйю*.

Хвалит господу веселый,
а Швачке седлают
коня его вороного —
погулять желает
он в Быхове прославленном

да с Левченко вкуже
топтать трупы шинкарские,
шляхетские трупы.

(Чумак)

Ой, не пьются мед и пиво,
не пьется вода,
приключилась с чумаченьком
в дороге беда:
заболела головушка,
заболел живот,
упал чумак у телеги,
упал, не встает.
Из Одессы прославленной
завезли чуму;
покинули товарища —
пропадать ему!
Волы его у телеги
понуро стоят;
стаей вороны степные
к чумаку летят.
«Ой, вороны, вы оставьте
мертвеца в покое:
наклюетесь и умрете
вы рядом со мною.
Сизокрылые, летите

в далекие дали,
моему отцу скажите:
меня б отпевали,
надо мной псалтырь читали,
а дивчине милой

(Наливайко)

То пасхальное воскресенье
помнят люди и поныне:
до рассвета в достославном
городе Чигирине
в медный колокол звонили,
из пушки стреляли
и почтенных запорожцев
на совет скликали.
С хоругвями, с крестами
и с пречестными образами
народ с попами
на гору из церквей спешит,
словно божья пчела гудит.
Архимандрит святую
обитель покидает,
он в золоте сияет,
акафист читает,
народ благословляет.
Спокойно и тихо
в рассветную пору
на крутую гору

сходились полковники,
и войско, как море,
шло рядами, с бунчуками,
С Луга выступало,
и труба пророкотала,
и недвижно войско стало.
Замолкли и пушки,
и звон отдаленный —
бьет казачество смиренно
земные поклоны.

Молебствие архимандрит
перед войском правит,
святого Бога просит, славит,
чтобы ниспослал им указанье
и облегчил бы им избранье.
и гетмана единогласно
избрали утром рано-рано:
преславного Лободу Ивана,
рыцаря седого,
брата войскового.
И трубы затрубили,
и церкви зазвонили,
пушка загремела;
знаменами, бунчуками
гетмана укрыли.

Гетман слезы проливает
и руки к небу вздымает.
Славный гетман отвечает,
поклонившись трижды,
точно звон могучий
над кручей:
«Спасибо вам, спасибо, родные,
запорожцы удалые,
за славу, честь и уваженье,
что сегодня оказали, —
только лучше б вы избрали
не меня, уже седого, —
вы избрали б молодого
запорожца записного,
преславного, удалого
Павла Кравченко-Наливайко.
Я стар человек, не смогу сражаться,
будет со мною он совеща́ться,
по-сыновьи научаться,
как за ляха взяться.
Тревожно, братья, стало ныне
на нашей славной Украине.
Нет, не мне воевать с ляхом,
быть вам головою,
не под силу мне, седому,

сладить с булавою, —
пускай правит Наливайко
к нашей доброй славе,
чтоб от страха лях проклятый
задрожал в Варшаве».
Как шмель, казачество гудит,
все церкви зазвонили,
и пушка вновь гремит.
Знаменами укрыли
преславного запорожца
Павла Кравченко-Наливайко.

(Во граде Вильно достославном)

Во граде Вильно достославном
вот что произошло недавно...
Тогда стоял... Но трудно мне
в поэму втиснуть это слово...
Тогда в просторный и суровый
он превращен был лазарет,
а бакалавров разогнали
за то, что шапок не ломали
пред Острой брамой... Что дурак,
заметно сразу, но никак
назвать не смею, правый Боже,
того студента — ну, так что же?
То был сын ясновельможный
литовской графини:
мать заботилась о миллом,
единственном сыне.
Не как пан дитя училось
и шапку снимало
в Острой браме;
было б ладно,

да беда настала!
Он влюбился не на шутку,
был молод, сердешный,
выбрал юную еврейку
и хотел, конечно,
тайну соблюдая,
чтоб не знала мать родная,
на красавице жениться.
Вот была какая —
та еврейка. Все сидела
до глубокой ночи
пред окном и утирала
печальные очи...
И она его любила,
и страх как любила.
На бульвар гулять ходила
и в школу ходила
все с отцом.
И что тут делать
с долею проклятой?
А банкир один из Любека
евреечку сватал.
Что же делать тут влюбленным, —
идти в Закрет детям?
Утопиться? Без еврейки

не житье на свете
юноше. Старик проклятый
знать того не знает,
дочь единственную крепко
дома запирает.

Как идет он утром в лавку, —
сторожила б строже,
нанимает Рухлю. Что же!
Рухля не поможет.

Где девушка эту книгу,
где роман читала —
с тонкой лестницей из шелка, —
и Рухля не знала.

Может, сама догадалась,
только так случилось,
что себе сплела такую ж
и в ночи спустилась
вниз, на улицу, к студенту.

Тут бы им скрываться,
а они (понятно — дети)
сразу — целоваться
у ворот немедля стали.
А отец тут вскоре
как безумный выбегает
с топором. Ой, горе,

горе матери несчастной!
Сына не зови ты:
На улице валяется
сынок твой убитый.
Он погублен изувером.
Горе приключилось!
Евреечка (что за сила
в девушке открылась?)
Бросилась, топор схватила
и по обух живо
в грудь отцовскую всадила.

Вот такое диво
в старом городе преславном,
В Вильно приключилось.
И дивились долго люди,
где же притаилась
евреечка та, гадюка,
что отца убила?
В Вилии она тихонько
ночью утопилась.
И нашли ее в Закрете;
там и закопали.
А графиня без сыночка
осталась в печали.

В Рим уехала, я слышал,
да там и осталась,
да с маркизом неким нищим,
молвят, обвенчалась.
Может, люди лгут — не знаю,
на то они люди,
и вдовицу не забудут
и всегда осудят!

(Покрытка)

«Если бы тебе досталось
пожить вместе с нами,
знал бы ты тогда, приятель,
какими словами
называть своих несчастных
девушек-покрыток.
А то мелет чертовщину
и думает: мы-то!
Мы-то людям всем покажем
этих бесталанных
и учтивости научим
барчуков поганых.
Жаль труда! Покуда баре
власть имеют в селах,
будет много собираться
покрыток веселых
по шиночкам с солдатами».
«Не тревожься, братец!»
«Ладно, говорю! А все же
побасенку нате,
да последнюю, барчата!

Послушайте кстати!

Девчата на лугу гребли,
а хлопцы сено в копны клали,
да все на солнышко взирали
да всяческую чушь несли,
ребячась. Хлопцам, как сороки,
в ответ девчата стрекотали
и часто к роднику спускались
в овражек глубокий.

Та, что красивей всех была,
уже давно в овраг ушла,
кувшин забрав, да и пропала.
А старосте — заботы мало,
не видит будто. Не впервой
лукавому кривить душой, —
матерый пес, да и смышленный.
Из балки вдруг донесся крик.
На помощь хлопцы в тот же миг
и видят: в балке, разъяренный,
насилье барский сын творит,
дивчину бедную терзает.
Сердешная вопит, кричит;
примчались хлопцы; не спасают,
боятся пана. Тут один,

юнец безусый, оглянулся
и — вилами пана!
Проколол его, как жабу...
Застонал поганый,
да и умер. Пошумели,
в город весть помчалась:
суд наехал, поглядели
и выпили малость
судьи; в цепи заковали
парня молодого
да в острог замуровали,
не молвив ни слова.

На шляху, в широком поле,
корчма под ветлою
стоит, в тени пристроилась,
ну, а под корчмою
в ряд колодники расселись.
В тени приютиться
позволили горемыкам,
водицы напиться.
Вот сидят они, болтают,
кто и засыпает.
Из-за горки поезжане
на шлях выезжают.

Их три тройки; и случайно
у корчмы той стали
покормить коней усталых,
и дружки устали,
распевая; вот и стали.

Встала молодая
и, горилки кварту взявши,
пошла, оделяя
и колодников несчастных,
и конвой унылый.

Вдруг взглянула, обомлела:
Боже, Боже милый!

Меж колодников, закован,
тот самый, единый.

Ее мститель бесталанный
несет с Украины
кандалы в Сибирь глухую.

Тебя ж, молодую,
будут холить, и не будешь
ты слышать, тоскуя,
его плача вседневного...

Потчевать не стала
она мстителя святого
и не привечала —
лишь взглянула на родного,

не молвив ни слова.
Постояли поезжане
и — в дорогу снова.
И колодники за ними,
цепями бряцая,
потянулись. И настала
тишина немая
вокруг корчмы. Корчма одна
с хозяйкой осталась
при дороге. А над нею
дымом расстилалась
пыль дорожная.
И смерилось. И век пролетает,
не только день! На хуторе
музыка играет
до полуночи. Подружки
стлать постель в светелку
двинулись... А молодая
вышла втихомолку
и пропала... Ночь искали,
до свету искали
и не нашли! Где ж бедняга?
Где? Ушла, в печали,
за колодником убогим
в сибирские дали...

